- **ЖИЗНЬ ДО И ПОСЛЕ СМЕРТИ** - новая повесть Якова Шехтера
- **ЭРОТИЧЕСКИЕ СОНЕТЫ** - Риты Бальминой
- **СЕМЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СОБЛАЗНОВ** - Микки Вульфа
- **„ПАСИТЕСЬ, МИРНЫЕ НАРОДЫ“** - пути истории в эссе Д. Таксера, М. Копелиовича, А. Воронеля, А. Кустарева, А. Эпштейна
- **ЭККЛЕЗИАСТ** - в интерпретации Наума Басовского и Давида Авидана

22

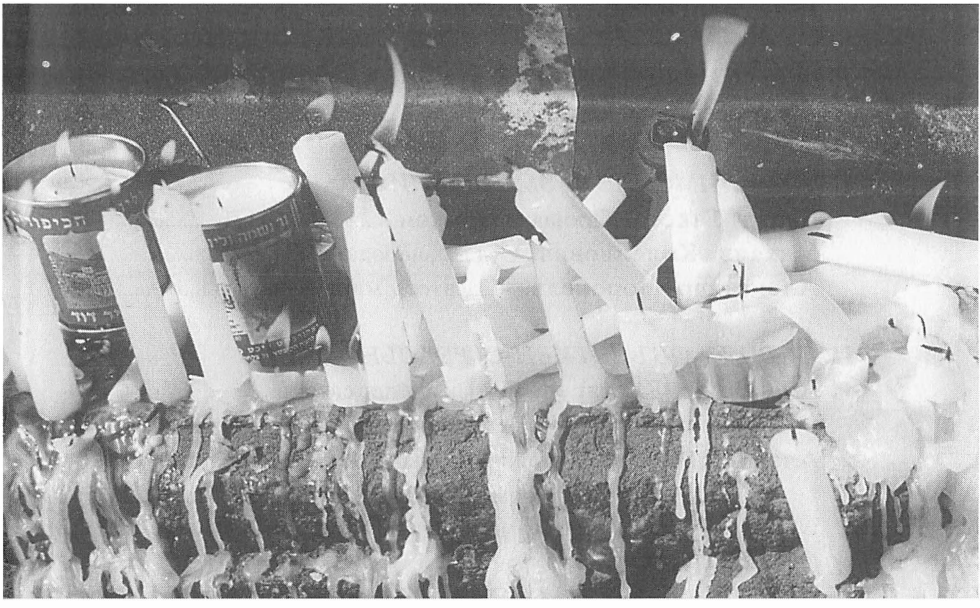
МОСКВА ИЕРУСАЛИМ

№ 109

109

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ
ЖУРНАЛ ЕВРЕЙСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ ИЗ СНГ В ИЗРАИЛЕ

ДВАДЦАТЬ ДВА



109

ЖУРНАЛ ВЫХОДИТ ПРИ СОДЕЙСТВИИ МИНИСТЕРСТВА АБСОРБЦИИ
И ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

1998

СОДЕРЖАНИЕ

ЛИТЕРАТУРА

Яков Шехтер. Шахматные проделки бисквитных зайцев 3
Полдень 27
Владнир Донец. И придет человек 40
Элла Иоффе. У камина 52
Рита Бальмина. Эротические сны 55

РЕФЛЕКСИЯ БЕЗ БЕРЕГОВ

Микки Вульф. Семь соблазнов 62

ИЕРУСАЛИМСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

Давид Таксер. Прощание с веком 120
Михаил Копелиович. Суд над народами 125
Александр Воронель. «Паситесь, мирные народы...» 134

ИСТОРИЯ – ОБЪЕКТИВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ?

Александр Кустарев. Пятьдесят лет спустя,
или наконец-то она кончилась 146
Алек Д. Эпштейн. Война как выражение обоюдного
стремления 159

ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Наум Басовский. Коэлет, или Экклезиаст 189
Давид Авидан. Юный Экклезиаст 208

СРЕДИ КНИГ

Ал. Мышиц. Довлеет времени злоба его 215

В АЛЛЕЕ ПРАВЕДНИКОВ

Эмилия Обухова. Книги имеют свою судьбу 219

Коротко об авторах 223

На последней странице обложки: Р. Бальмина «Дафна», 1998

Яков Шехтер

ШАХМАТНЫЕ ПРОДЕЛКИ БИСКВИТНЫХ ЗАЙЦЕВ

Лев Каплан проснулся в полночь от крика петуха. Не раскрывая глаз, он видел янтарный, нервно подрагивающий клюв, медные перья, гребень, набухший алой кровью. Петух закидывал назад голову и, раздувая горло, выхаркивал прямо в лицо:

По-ра! По-ра! По-ра!

Речь шла не о чем ином, как о жизни, единственной, драгоценной и неповторимой жизни Льва Каплана, которая, по мнению нахальной птицы, подошла к концу.

Конечно, к реальности все это никакого отношения не имело.

„Последнего живого петуха видели в центре Тель-Авива лет двадцать назад, - подумал Лев, переворачиваясь на другой бок. - С тех пор они появляются в этом районе исключительно в свежемороженом виде."

Часы в гостиной пробили двенадцать. Глубоко и протяжно, словно возвещая о спасении и приюте, они доверху заполнили тишину ночи. Так звонит колокол на башне в снежную бурю, последняя надежда заблудившихся путников. Подрагивают квадратики стекол в частой раме, заросшей многодневной наледью; гул проникает в жарко натопленный зал, шарахается от огня, воющего в камине, обволакивает увитые паутиной своды, вырывается в коридор и дальше - неслышным промельком заячьих лап по желтым, вытертым ступеням, сквозь холл с каменным полом в черно-белую клетку, туда - на открытое, свободное от гнета стен пространство, где вольно и весело раздувает до треска сосудов свои легкие оранжево-черный петух.

- Уфф, - он лег на спину и несколько раз вздохнул, пытаясь выдуть, вытолкнуть из себя кошмар, незваное, дурное сновидение.

„А даже если так, - подумал он, - когда-нибудь это должно произойти. Не знает человек своего часа, ни дня, ни минуты, ни обстоятельств времени и места, ни действующих лиц. Отмерено и взвешено и от нас не зависит, хоть колени сотри, вымаливая отсрочку. Вот в эту безликую неумолимость я верю полной верой. О чем же грустить: пора, так пора.

Он полежал еще минуту, подбадривая, успокаивая себя мыслями о конце всего сущего, неизбежном и непременном, как возвращение зимы, смена цвета листьев, чередование дня и ночи. Мысли разной свежести и глубины, накопленные памятью за долгую жизнь, проносились пенящимся облаком бабочек-однодневок.

Неужели придется оставить любимое, с трудом вырванное, собранное и притертое каторжной работой пальцев, души, муками разума? И куда теперь, да и будет ли вообще - теперь, завтра, послезавтра и он сам, размышляющий так уютно под стук маятника, что будет с ним, и почему сейчас, ведь всего-то шестьдесят пять, и не старик вовсе, хотя бы еще пятнадцать, ладно, десять, ведь живут люди до восьмидесяти, запросто, сколько их, бодрых, с палочкой или газетой под мышкой собирается по утрам в скверике, даже пять, пусть три, год, еще сколько-нибудь, но не сейчас, прошу, не сейчас!

Уф, какая чушь. Откуда-то из пещер позвоночника выкатил инстинкт, слепая животная сила и, словно в отместку за годы ссылки и забвения, принялась утюжить властелина, разум Льва Каплана.

- Ага, боишься, боишься, - с подленькой усмешкой раба, ставшего господином, - дрожи, трепещи перед неведомым и страшным, откуда не позвонить, не прислать телеграммы, не выбраться в отпуск. Ты отталкиваешь, отодвигаешь его в сторону, делая вид, будто все трын-трава и сухой подорожник, а оно не где-нибудь там, в еще неизвестно когда и почему, а здесь и сейчас, в тебе самом, по самой простой и потому безжалостной причине, именуемой - пора.

Он сел на кровати и с неожиданным удовольствием потер ступни о тугой ворс ковра. Луна светила свозь приспущенные жалюзи, продольные полоски света лежали на красном ромбе одеяла, отражались в зеркальной поверхности шкафа, сияли в пузырьках и баночках трюмо.

- Е-рун-да, - со вкусом прошептал Лев.

Вид знакомых вещей, обтроганных и засмотренных до рассеянного скольжения, успокоил его. Он еще раз потер пятки о ковер и опрокинулся обратно на патентованно-упругую спину матраса.

Красные цифры электрических часов горели в темноте будто глаза сидящего в засаде волка.

- Завтра же пойду и куплю с зелеными, - твердо пообещал себе Лев, вспомнил, в который раз дает такое обещание, и улыбнулся. Утро - это как другое время года, другое здоровье, другие оторопь и поспешность. Одеваясь, он превращается в иного человека, словно в одежде содержится отдельный, самостоятельный смысл. Через три часа зазвонит будильник, вернее, не успеет зазвонить, по привычке он откроет глаза за минуту до установленного срока и отработанным движением передвинет рычажок. И покатится день с утренним кофе, правда, уже без кофеина, с упругим взревом мотора и дорогой - считанные, пересчитанные светофоры, стоянка, только для преподавателей, прохладный холл университета с полированным полом в черно-белую клетку. Завертится, поплывет, понесется день, окутанный ближневосточным солнцем и расчерченный на равные дольки ежечасным прослушиванием новостей.

„Я еще здесь, - подумал Лев, - вот теплое плечо жены, с едва заметным ароматом духов, гладкая, прохладная ткань подушки, темная рамка на прикроватной тумбочке. Если зажечь свет, в ней улыбается Лика с мужем и сыном, его внуком, игривым, забавным человечком. Длинная жизнь, столько всего было в ней да ушло, стаяло, припорошенное крупной солью беспамятства. Но и того, что осталось, того, что и сейчас с ним, стоит лишь взглянуть назад, вдоль сбегающей вниз и влево череды лет, достаточно для любви, печали и усталости...

Жизнь представала расчерченной на недели страницами

школьного дневника. Слева - понедельник, вторник, среда; справа - четверг, пятница, суббота, а вместо воскресенья - место для подписи родителей. Месяцы тянулись, как вереница пузатых бочонков на выезде с пивзавода неподалеку от двора его детства. Взгляд медленно перетекал от красной с желтыми прожилками дешевых фруктов осени, через ведра с углем, стоны и потрескивание огня за раскаленной железной дверкой, к томящему после четырехмесячной стерильности запаху талой воды, а от него к звону стаканов в купе скорого поезда, бегущего к теплому югу, на бабушкину дачу у самого синего моря.

Десятилетия напоминали лестничные пролеты: где-то там, далеко внизу, - пятидесятые, первый медицинский, Тося в крепдешиновом платье, и он рядом с ней в белой сорочке с украинской вышивкой у ворота. Нет, кажется, их носили позже, в начале шестидесятых; впрочем, какая теперь разница. В шестьдесят пятом он защитился, красиво, эффектно, о психологии тогда только начинали говорить всерьез, а он уже защитился, с банкетом в „Праге“, поздравлениями через „Медицинскую газету“. Где-то в начале этого пролета родилась Лика, он толком не успел заметить, много работал, по вечерам писал диссертацию. Она прибегала в комнату, кукольное создание с блестящими, как у мышки, глазами, прижималась щекой к его ноге и верещала:

- Папа, уцьки, хочу уцьки.

Лев брал ее на руки, и, раскачиваясь, читал вслух со страницы, от которой она его оторвала. Лика угревалась, начинала тихонько урчать, словно большой котенок, а потом засыпала, свесив ножки в сандаликах со смятыми задниками.

Если б не запись в паспорте, быть ему завкафедрой, профессором, с командировками в „братские“, а иногда и не очень, но помимо становой, неизбывной проблемы его анкеты, требовалось подписывать, когда просили, и диагностировать по высочайшему указанию. Сначала он отказывался, а потом и предлагать перестали, а еще потом, в конце семидесятых, его со смаком прокатили на защите докторской, и когда он бросился доказывать и объяснять, тихо и почти ласково напомнили, кто он, откуда пришел, и как не оправдал, когда попросили...

В Израиле поначалу тоже было непросто, но постепенно признали диссертацию, выиграл конкурс на заведующего отделением, печатался, потом стал преподавать.

Лика закончила университет, вышла замуж. Лев не хотел ни этой специальности, ни этого мужа, не хотел и боялся, но она уже не слушалась. Впрочем, когда она слушалась, даже „на уцьки" он сдавался после первого предупредительного воя. Теперь Лика физик, неутомимый охотник за упрямыми атомами. Погоня - прилипчивая, неотвязная страсть. Наверное, она подхватила ее от мужа, офицера спецгруппы по борьбе с террором.

Он с благодарностью прижался губами к плечу жены. „Ты у меня одна, заветная... Это все ты - и дом, и Лика, и внук и работа - все благодаря тебе..."

Треск дождя, сухой и внезапный, как радиопомехи, наполнил комнату. За окном вспыхнуло, густо прогремел гром. Тося дернулась и мягко привалилась к нему. Он вдруг подумал о Б-ге, не о придирчивом чиновнике, дотошно подсчитывающем каждое исполненное приказание, а о милосердном и всепрощающем Б-ге, похожем на Деда Мороза, с красным мешком подарков и доброй улыбкой на усталом лице. Не в молельном доме его место, где, раскачиваясь, потеют в черных лапсердаках неистовые бородачи, а в прикосновении любимой женщины, в хорошо сделанной работе, достойно воспитанных детях, в добром имени, которое оставляет за собой человек.

Он никого не убивал, почти не обманывал, не крал, не соблазнял чужих жен. Даже с этой, формальной стороны, прожитая им жизнь чиста, как перебродившее, хорошо отстоявшееся вино.

Пора - беспощадное, унизительное слово. Есть в нем от посвиста кнута над склоненными спинами рабов, от последнего, язвительного блеска топора.

Лев Каплан закрыл глаза. Жизнь простиралась перед ним, уходила назад, убегала в стороны - знакомое, обжитое, приручeнное пространство. Сейчас он заснет, а утром все продолжится так же, как и вчера, как неделю назад, начнется опять и сначала, продлится много дней, недель, месяцев, не хуже, чем вчера, лишь бы не хуже, чем вчера...

А сон приснился дурацкий, обидный и бессмысленный. Он сидел на горе раскаленных углей, кожа трещала и дымилась, было безумно, невыносимо жарко. Он пытался встать, но зад и ноги приклеились, припеклись к углям. Обильно проступавший пот тут же закипал, словно слюна на утюге; крики о помощи, мольбы о пощаде, вырываясь из раскаленного рта, превращались в облачки смрадного дыма. Это длилось долго, бесконечно долго, годы, века, тысячелетия, и вдруг кончилось. Невидимые руки подхватили его, многострадальная задница, теряя куски кожи с прикипевшими угольками, взмыла вверх, и через секунды он оказался в пышном, ослепительно холодном сугробе. Увитый струйками пара, Лев медленно оседал, протаивая все ниже и ниже. Невыносимо, невыразимо, невероятно, сладостно и упоительно, несомненно и достоверно, непреложно и ясно, любимо и желанно, грозно и могущественно, ускользающе и мимолетно - и вот уже холод стягивает члены, каменеют пальцы, хрустят, отвердевая, уши. И это пройдет, он знает наверняка, скоро те же руки вырвут его из глубины ледяной могилы и снова усадят на пылающую кучу. С трудом сгибая ладони, он набирает полные пригоршни снега и прячет под мышками, чтобы там, на углях, выиграть еще секунду, еще мгновение прохлады.

- Вор, - гремит невидимый голос, - даже здесь ты все еще вор!

Лев проснулся. Пижама взмокла от пота, лицо горело, словно взаправду обожженное беспощадным жаром. Левая рука, забытая поверх одеяла, окоченела. Он приподнял ее, пытаясь остудить лоб прикосновением ладони, и закричал от боли. Сердце рвалось и трепетало, все его части, будто рассорившись друг с другом, зажили своей, отдельной жизнью. Внезапно грянувший хаос был настолько нелеп и несправедлив, настолько не совпадал со всеобщей гармонией и целостностью мира, что Лев попросту отказывался принимать участие в этом балагане, управлять сошедшим с рельс и несущимся по черной степи поездом.

Он видел, как Тося с искаженным лицом что-то кричала в телефонную трубку, как осторожно укладывали на носилки его тело, как весело, словно на новогодней елке, перемигивались

огоньки приборов под приглушенный вой сирены. Льва это уже не интересовало. Жестяный звук отдельно падающих капель слился наконец в благодатный шум ливня, смысл вылущивался из любой мысли или предмета, удостоенных его взгляда. Тайны кончились, мир лежал перед ним розовый и обнаженный, будто младенец перед пеленанием.

* * *

Во второй раз Тося забеременела, когда Лике исполнился год. Хлопоты с еще одним ребенком в самом разгаре работы над диссертацией, снова пеленки через кухню, писк до утра, ежедневные ванночки с чебрецом, в общем, Лев настоял на аборте. Тося плакала по ночам, но он делал вид, что не слышит. К назначенному дню она уложила вещи в хозяйственную сумку и покорно отправилась в больницу.

Абортарий занимал старый дом из красного кирпича со стертыми от времени кромками. Дальше приемной Льва не пустили, нянечка в застиранном халате, неодобрительно покачивая головой, прошипела:

- Иди, иди, нечего пальто по лавкам отирать. Завтра получишь, что останется.

Внутренний двор абортария отделяла от улицы стена из такого же крошащегося кирпича. В народе ее называли стеной плача. Проржавевшие ворота были всегда заперты, но через щели между неплотно прилегающими створками можно было разглядеть кусочек асфальта и ствол старой сосны, верхушка которой покачивалась высоко над забором.

На следующий день он пришел за час до выписки. Ворота оказались незапертыми, Лев приоткрыл створку и заглянул внутрь. Несколько скамеек в язвах облупившейся краски, мутные окна с белыми занавесками на шпагатах. Толстая кошка выскочила из мусорного бака, не торопясь перебежала двор и, устроившись под сосной, принялась за еду. Он шагнул к ней, не веря собственным глазам. Кошка подняла голову и зарычала. Лев обмер. Порыв ветра впился в крону сосны, рыжие хвоинки, как сгустки запекшейся крови, посыпались на его голову. Он стоял,

боясь шелохнуться, не в силах вздохнуть, без мыслей, без крика, без дыхания...

Тосю выпустили только под вечер, бледную, с розовыми трещинками заеды в уголках искусанных губ.

- Это были близнецы. Два мальчика. Два твоих сына.

Он молчал. За спиной, ворочаясь, словно больное животное, медленно умирал закат.

Прямо из амбуланса его повезли на „центур". Санитар с решительным загривком быстро тащил коляску, пакет внутривенного раскачивался на капельнице в такт перестуку колес. Тося бежала за коляской, стараясь наступать только на белые плиты, суеверно оставляя черные в стороне.

- Мама, не трясись, как заячий хвост, - Лика подхватила ее под руку. - Вот увидишь, все обойдется. Через неделю получишь его обратно, даже лучше, чем был.

Жениться нужно на сироте. Некому поучать и вмешиваться, некуда убегать в случае размолвки. Эту нехитрую житейскую мудрость Лев принял буквально. Тося ему сразу понравилась, ореол нот и высоких имен создавал вокруг студентки консерватории удивительную атмосферу причастности и понимания. После третьей встречи выяснилось, что прогулки пешком она обожает по весьма прозаической причине - воспитанница детдома Тося жила только на стипендию. Внешность у нее была восточной: бархатистая кожа, чуть обметанная нежным темным пушком, синеватые белки глаз, зрачки цвета густого какао, вьющиеся без бигуди волосы. Но в паспорте Тося значилась русской, так записывали всех детдомовцев. Тогда его это не взволновало, а через тридцать лет, уже подумывая об отъезде, Лев отыскал Тосин детдом и за мизерную сумму выяснил все подробности. Тося оказалась армянкой, ее родителей, партийцев высокого ранга, репрессировали, а годовалую девочку выслали из Армении в незаметный городок центра России. За чуть менее символическую сумму Лев получил справку о еврейском происхождении своей жены. Он мог сделать ее испанкой, полинезийкой, марсианкой - завдетдомом, отставной майор и хронический пьяница, подписал бы любую бумажку.

- Жидовка-то тебе зачем? - удивился майор, красноречиво потирая шею.

- В хозяйстве пригодится, - хохотнул Лев, многозначительно поигрывая бумажником.

- В каком-таком хозяйстве?

- В народном, - Лев перегнулся через стол и доверительно посмотрел прямо в глаза собеседнику. - В нашем народном хозяйстве.

Сторублевка словно невзначай выскользнула из бумажника и, сладко хрустнув, улеглась рядом со справкой.

- Так бы и говорил, что в народном, - немедленно согласился майор, роняя на сторублевку измятую пачку „Беломора".

В наше канцелярское время хорошая справка - половина пророчества. Пред гражданином, осиянным трепетом ее прохладных крыл, бюрократические препоны расступаются, словно Красное море перед колоннами беспаспортных беглецов.

Подробности волокиты и приемы стяжательства Лев изучил на собственном опыте. В детстве он немало настрадался из-за фамилии и сразу после совершеннолетия решил сменить ее на более удобоваримую. Речь шла о замене всего одной буквы и, после всеподданейших челобитных, впрочем, столь же бесполезных, как и громкие скандалы, он попросту сунул в стол паспортистки скромненький синий конвертик. Эта маленькая операция, прошедшая совершенно незаметно для большей части человечества, превратила его из жирного, предназначенного для убоя каплуна, в родственника бесстрашной террористки.

Весть о своем еврейском происхождении Тося приняла почти равнодушно.

- Я всегда знала, что не русская, - сказала она, рассматривая справку, - только думала - грузинка или армянка.

- Где ты и где Армения, - забеспокоился Лев. - Ваш эшелон разбомбили, а тебя машинисты сдали на первой же станции в отделение милиции.

Вралось не очень складно, но Тося не стала выяснять подробности.

- Еврейка так еврейка, - сказала она, пряча справку в письменный стол. - У Ликочки в Израиле будет меньше проблем.

Но проблем в Израиле оказалось достаточно. Не успели пережить хлопоты устройства на работу и покупки квартиры, как началась война, после войны инфляция, после инфляции - новая война. Неожиданно выросла Лика и так же неожиданно ушла в армию. Ее отправили на ливанскую границу, в радиоразведку. Целыми неделями она подслушивала телефонные разговоры инструкторов „Хизбаллы". Инструкторы не стеснялись и крыли матом так, что понять их не родившемуся в России человеку было совершенно невозможно.

Два раза в месяц Лику отпускали домой. Она приезжала бледная, с потухшими глазами, и сразу бросалась в душ. После ванной спала полдня, а потом смотрела телевизор, все подряд, без разбору.

- Ей нужно выравнять дисбаланс, - объяснял Лев испуганной жене, - две недели она только слушала, а теперь организм берет свое - только смотрит.

Лика криво улыбалась.

- Ты, как всегда прав, папа, - говорила она. - Ты все очень психологически объясняешь. Объясни теперь маме, почему не нужно беспокоиться, когда меня нет дома.

Она уходила к однокласснице, грустной марокканке Симхе, и возвращалась перед самым отъездом, надеть форму. Маме перепадал вялый поцелуй, а папе - еще более вялое помахивание кистью руки.

- Пока, зайцы, - иногда снисходила Лика. - Не скучайте тут без меня.

Но чаще всего она уходила молча, оставляя за собой дурманящий запах самодельных сигарет.

- Проблемы единственного ребенка, - объяснял Лев.

Тося уходила на кухню и затевала яблочный пирог, любимый десерт мужа. Пирог выходил очень сладким, Тося сыпала много сахару, чтобы перебить соленый вкус слез.

...Он вдруг увидел перед собой двух своих сыновей, двух маленьких черноволосых мальчиков. Они шли к нему, поддерживая друг друга, но первый слегка упирался, словно стесняясь чего-то. Лев присмотрелся. На его ручонке не хватало кисти.

Он закричал от ужаса и стыда, закричал так отчаянно и безнадежно, что очнулся от собственного крика.

- Сейчас, Левушка, сейчас, - Тося гладила одеяло на постели, еще чуть-чуть, и лекарство начнет действовать.

Глупая, уже ничего не начнется в его жизни, пора, пришла пора, когда смолкает серебряный голос ручья, и жернова перестают вращаться, и весь этот чудесный, неповторимый мир, взмахнув крылом, скрывается за поворотом. Еще шуршат листья, трещат спицы, но костер затихает, дрожь темноты скользит по муару углей, чаще, еще чаще, еще чаще...

Лика побежала за врачом. Голос Тоси накатывал и отступал, словно волна, словно бой часов, словно замирающий, сходящий на нет стук его сердца. Он столько хотел сказать ей, сейчас, в эту последнюю минуту, но сил хватало лишь на пузырящийся хрип. Жизнь вытекала вместе с дыханием, прерывистыми, нервными толчками.

- Прости, - ему наконец удалось собрать главное слово, - прости...

Вошел врач. Его лицо сияло. В правой руке он держал короткий, остро наточенный меч. Тысячи зайчиков сорвались с искрящегося лезвия и заметались по палате.

От ужаса перехватило горло, холодный густой пот обметал губы. Врач приближался, подступал медленно и плавно, с каким-то неумолимым, нечеловеческим равнодушием. Остановить, задержать его еще на минуту, на долгую, бесконечную минуту дыхания, света, Тосиного лица. И ничего не жаль, все добытое и схваченное меркнет перед сиянием этой единственной, последней минуты.

- Отдайте все, - взмолился, вскричал Лев, сжимая Тосину руку, - отдайте все...

Зеленая капля желчи сорвалась с лезвия, прожгла зубы, покатилась сквозь язык, сквозь гортань. Вонзилась в сердце.

Последняя баррикада регулярных войск взлетела на воздух и мятежники хлынули в узкий проход под башней. Сразу за воротами их братство распадалось. Цель была достигнута, и

теперь каждый возвращался к своему дому, откуда его вырвал и заключил в темницу приказ Царя.

Главарь уходил последним. Выйдя за ворота, он обернулся и, не целясь, всадил пулю в самую середину башенных часов.

Башня загудела, как рояль под финальным аккордом. Эхо заметалось между стен, застонало, забилось в поисках выхода. Башня еще дрожала, наполненная звуком до самых верхних, выбеленных солнцем камней, а эхо уже вырвалось, выскользнуло из-под тяжести сводов и растворилось, свободное, в холодном вечереющем небе.

Лев Каплун умер.

Но врачи продолжали терзать его беззащитное тело. Били током, давили изо всех сил на грудную клетку; подключив к аппетитно чмокающему цилиндру, гнали застывающую кровь через обрывки сердца. Лев смотрел на них с удивлением. Он был мертв, мертв навсегда и безвозвратно, но эта простая истина ускользала от врачей, занятых бесполезными хлопотами. Тося в коридоре уже все поняла и плакала, безуспешно пытаясь вытереть слезы мокрым платком.

- Лика, дай маме свой, - сказал Лев, - ведь у тебя их два, один в кармане брюк, а другой в сумочке.

Но Лика не слышала.

- Видишь, - успокаивала она мать, - пришел завотделением. Наверное будут делать операцию на открытом сердце. Нашему соседу сделали такую больше года назад. Сейчас он как новенький, бегает по утрам вокруг дома, ходит в бассейн.

Завотделением вышел из палаты. Медсестра кивком головы указала на Тосю и Лику. Он постарался изобразить скорбь на аккуратно выбритом лице и неспеша двинулся к родственникам умершего. Актер из него был никудышный - крупные губы лоснились после недавно выпитого кофе, а в глазах, оглядывающих фигуру Лики, вспыхивали искры, совсем уж неподобающие существу момента. Завотделением заговорил, разводя руками и сочувственно качая головой, но Лев не стал слушать. Он вернулся к своему телу, прикрытому простыней в желтых пятнах от про-

литых лекарств. Это было удивительно и страшно, он входил внутрь, вновь и вновь ощущая тяжесть непослушных рук и возвращался, рассматривая себя с разных сторон. Вот родинка под лопаткой, наконец он увидел ее, коричневые бугорки бородавок на темени, прямой, начинающий костенеть нос.

В коридоре появился зять, как всегда в мятой, перепачканной форме. Кристаллики песка посверкивали даже в его жестких, иссиня-черных усах.

- Неужели он гоняется за террористами все двадцать четыре часа в сутки? - подумал Лев с привычным раздражением. - Для такого редкого и торжественного события, как смерть тестя, мог бы потратить десять минут на переодевание!

На плечах Ихьи тускло краснели два „фалафеля".

- Уже подполковник, - сообразил Лев. - А ничего не сообщили.

Обида и раздражение захлестнули его с головой. Останься в живых, он бы сейчас хорошенечко хлопнул дверью или уронил на пол тарелку с горячим супом. Увы, знакомые способы сорвать напряжение остались в той, прежней жизни. Он выскочил в коридор, вихрем промчался по отделению, с размаху влетел в свое тело, вылетел обратно. Тщетно. Даже самая тончайшая пылинка, плывущая по палате в легком токе сквозняка, не изменила направления полета. Обида жгла сердце Льва, словно раскаленные угли, и он ничего не мог с этим поделать.

Электронная секретарша записала всего одно сообщение. Озабоченный голос декана интересовался, почему профессор не явился на лекцию. Лика нажала кнопку перемотки пленки и машинка зашелестела в обратную сторону, вытирая последнюю производственную проблему Льва Каплана. Тося сидела на диване и тихонько раскачивалась. Слезы уже кончились, но сидеть просто так, будто ничего не произошло, было немыслимо, невозможно. Она боялась расшевелить их неловким движением и поэтому раскачивалась осторожно, словно боясь потерять равновесие. Цветы на столе то заслоняли женщину в освещенном окне напротив, то вновь открывали. Женщина стелила скатерть, расставляла тарелки, поправляла волосы перед невидимым зеркалом. Наверное, она ждала мужа или любимого человека,

и зависть к ее простым заботам вдруг заворочала Тосю в глухом поминальном вое.

- Мамочка, мама, - Лика обняла ее за плечи, прижалась, - мамочка, мамуля, мамочка.

Они раскачивались вместе, и каждое движение, каждый нырок туда, в неизвестное будущее, и возвращение, с легким ударом спины о пружинящую мякоть дивана, вытесняли небольшую частицу боли.

- Он все время ждал, когда ты приедешь, старался вечерами быть дома, звонил с работы, спрашивал, может приехала, может позвонила. Приносил из магазина сладости, твое любимое печенье, вдруг появишься неожиданно. Печенье засыхало, он приносил новое, и оно засыхало, а ты все не приезжала и не приезжала, а теперь уже поздно, хоть всю квартиру засыпь печеньем...

Женщина в окне еще раз поглядела в зеркало и вышла из комнаты. Они вернулись вместе, он говорил, энергично разводя руками, а она кивала, не отводя глаз, словно то, что он рассказывал, было необычайно, жизненно важным не только для нее, но и для всего человечества.

- Мама, помнишь коробку с венгерским печеньем, ту, что исчезла сразу после моих именин?

Лев уселся в кресло напротив дивана. В доме ничего не изменилось, даже хвостик от яблока, оброненный вчера на ковер, сиротливо лежал на своем месте.

- Круглая красная коробка с выдавленными фигурками зайцев, каждая печенинка завернута в цветную бумагу. Твой подарок на день рождения. Неужели не помнишь?

Женщина в окне обернулась и, бросив испуганный взгляд в темноту за стеклом, быстрым движением задернула штору.

- Я искала в его столе чистую бумагу, нижний ящик оказался незапертым. Коробку он выкинул, но несколько бумажек с прилипшими крошками завалились между папок. С тех пор я не ем печенье, которое он покупает.

- Как ты можешь говорить о таком, - возмутилась Тося. - Здесь, сейчас... Когда он лежит там, в темноте, один-одинешенек.

Лев оглядел свое тело, стынущее во мраке холодильника и,

преодолев отвращение, проник внутрь. Там было холодно и страшно. Голова уперлась в шляпку болта, совершенно некстати выпиравшую из стены, Лев попытался двинуть головой, но не смог. Тело отделилось от него, в нем происходила своя, непонятная жизнь. Что-то шевелилось в желудке, источая едва заметное тепло. Он прислушался и с ужасом понял.

Лика принесла чашку с водой и поставила перед Тосей.

- Мама, ты должна пить.

Тося отрицательно покачала головой.

Разноцветные дети на чашке играли в мяч. Краска уже начала облупляться, и мяч стал похожим на вырванное из груди и подброшенное высоко в воздух голубое сердце.

- А где Ронен? Кто заберет его из садика?

- Я попросила соседку.

Тося удивленно посмотрела на Лику.

- Почему не Ихье?

- Почему...

Лика взяла чашку и одним глотком осушила ее до половины.

- Безжалостные, жестокие дети. Мы сменили уже два садика, и везде одно и то же.

Тося перестала раскачиваться.

- У них чутье, как у немецких овчарок. Ихье даже близко туда не подходит, Ронена я сама увожу и привожу, а они уже на второй день начинают - араб, араб.

- Но ведь он в самом деле араб, - сказала Тося.

- Мама, сколько раз можно объяснять - он бедуин, понимаешь, не араб, а бедуин. Это разные народы, совсем разные, как грузины и армяне.

- Лика, - Тося посмотрела на дочь. - Я давно хотела тебе рассказать. Пока был жив отец...

Но Лика не слушала.

- Расисты и законы придумали расистские, нигде в мире нет таких законов, ни в одном государстве! Да как они смеют, Ихье делает для этой страны в сто раз больше, чем вся их марокканская хамула, а сынок лавочника кричит ему - „араб, вонючий араб“, и воспитательница не может приструнить. Мы уедем отсюда, мама, еще немного, в Париж или в эмираты, у Ихьи

там родственники, я не могу больше, душно, тяжело дышать, давит...

Он вернулся к телу. Проникать хотелось и не хотелось одновременно. Словно расчесанный до крови, но все еще зудящий комариный укус. Лев представил, как завтра его будут мыть; не опасаясь порезов, брить отвердевшие щеки и подбородок, выдавливать нечистоты. Как будет идти, набирая силу, тот тихий процесс, начало которого он уже ощутил, как слепые свидетели его бессилия вопьются в глаза, заползут в уши, пробуравят безмолвные губы. Он рванулся наружу, туда, где за стеной больницы шумели деревья, осыпанные красными цветами, но не сумел. Мир сжался, и от его былого величия и многомерности Льву остались только квартира и мрак холодильной камеры.

- Ликочка, - Тося перестала раскачиваться, - а как же я, папа. Ведь нас не пустят в эти эмираты, да папа и не захочет...

Она осеклась, клацнув зубами, и, сгорбившись, облокотилась на мохнатый подлокотник дивана.

- Куда ты, зачем? Неужели здесь так плохо?

- Плохо, мама. Совсем плохо. Наверное, только в России было хуже. А здесь море, апельсины, цветы - круглый год на даче. Вы ведь все получили в долг, под меня, под мое будущее. И я платила, пока хватало сил.

Тося не ответила. На какую-то долю секунды ей почудилось, будто Лев сидит в своем кресле и слушает их разговор.

- Ну что ты молчишь, словно знаешь все секреты моей жизни?

- Да, Ликочка, я знаю про тебя все. От первого подергивания ножкой, до причин этой злости. Не страна забрала у нас папу, а стечение обстоятельств, случай. Но если тебе так легче, пусть будет по-твоему.

- Легче, - хрипло рассмеялась Лика, - как вы умеете все вывернуть наизнанку, найти самое дурацкое объяснение и назвать его психологией. Когда меня перед каждым увольнением сержант насиловал прямо на столе в каптерке, папа говорил, что я переутомилась.

Тося молчала.

- Он проверял казарму и нашел марихуану в моей тумбочке.

Пообещал замять... Если б не Ихье, я бы покончила с собой или начала колоться, как Симха.

Лика прижала руки к груди, но рыдание прорвалось, выскочило из горла, неожиданное, будто отрыжка.

- Он еврей, твой внук, стопроцентный еврей, и нет в нем ни бедуинской, ни арабской крови. Ихье опоздал, понимаешь, просто опоздал на пару недель...

Лев повернулся к окну. Прозрачная глубина стекла стала матовой, словно его облили снаружи толстым слоем сгущенного молока. Он угадывал медленный сдвиг густой массы, ее важное, неторопливое оседание на стену соседнего дома, острую зелень кустарника, последние сполохи заката в правом углу. Он не видел, а вспоминал цвета, звуки, запахи, матовая поверхность наполнялась движением, перекрытый ею мир возникал вновь, пусть лишь в его воображении, но такой же явный и терпкий, как тот, что в самом деле простирался за слоем сгущенного молока. Он попытался определить словами, установить название этой беспощадно сползающей краски, но прежде, чем успел вспомнить или понять, губы сами собой произнесли, обозначили его - неторопливый, уверенный цвет смерти.

Они снова обнялись и плакали, плакали вместе, но каждая о своем. Лика опомнилась первой.

- Мама, - в голосе, промытом слезами, не осталось даже тени хрипоты. - Он уверен, что это его сын. Поклянись мне, сейчас, в день папиной смерти, никогда, никому, ни при каких обстоятельствах...

- Клянусь, - еле слышно ответила Тося.

Утро похорон выдалось ярким, робкие облачка без всякой надежды проплывали по самому краю небосвода. Минибус „Хевра-Кадиша“ с телом Льва Каплуна потихоньку пробирался через пробки промышленной зоны. На старом кладбище уже не хоронили, а до нового, расположенного за городом, приходилось ползти сквозь светофоры и завихрения рабочей окраины. Впрочем, пробки только радовали Каплуна, наверное в первый раз за все время, потраченное на это бесполезное, унижающее топтание. Из окна открывались просторы захламленных дворов,

манящие глубины, ускользающие в проходы между сараями и грудами разнообразного хлама. Стопки ржавого железа, остовы автомобилей, бочки, выстроенные по ранжиру и сваленные в беспорядке, темные пространства мастерских с угрожающим движением промасленного воздуха, всполохи и треск электросварки.

Над дешевыми придорожными закусочными поднимались синие клубы дыма, запах жареного мяса пробивался даже через закрытые окна похоронного автобуса. У Льва засосало под ложечкой, он с удивлением понял, что безумно голоден. Еще бы, с момента смерти прошли уже сутки, а у него и росинки во рту не было.

Он посмотрел на свой рот, под черным, неопрятного вида покрывалом, и усмехнулся: „Бывали дни веселые..."

Впрочем, смешного тут было мало, есть хотелось по настоящему. Еще более изумляясь, он ощутил знакомое давление в кишечнике, короткие толчки, предвещающие освобождение. Он любил этот процесс: томящее напряжение, упругие пузырьки, прокладывающие путь главной массе, согласное сокращение мышц, покой расслабления и чистоты. О вечности, неизбежном суде и холоде могилы думать совсем не хотелось, даже живописная сумятица крыш Бней-Брака, сменившая хаос промзоны, не привлекала его внимания. Он хотел есть и пить, даже желание, давно упорхнувшая из его клетки птичка, вдруг накатило, взбудоражило, словно в далекой юности, когда Тося, смеясь, запиралась в Ликиной комнате, а он умоляюще скребся под дверью. Теперь это стало невозможным, невыполнимым, немыслимым, но тело и при жизни не спрашивало его согласия, верша пир по собственному усмотрению. Сейчас, утратив власть, потеряв возможность подкармливать его, или, насупившись, заворачивать кран почти до упора - он никогда не поступал так, первым бросаясь навстречу, но рукоятка лежала все-таки в его руке и оно, ненасытное, хорошо знало это - так вот сейчас он превратился в игрушку, в место пребывания, в беспомощную арену, усыпанную опилками перетертых страстей.

Время тянулось, как хорошо разжеванная резинка, и с той же силой, с которой прежде он боялся и избегал мыслей о

конце, Лев ждал его, нетерпеливо определяя сколько осталось до кладбища. Он рассчитывал на умиротворяющий холод могильной земли - о, уж с ним не поспоришь, он всех расставит по местам, приведет в чувство, призовет к порядку. Где это видано - умирать после смерти от жажды, что за нелепость, неслыханный, сатанинский фарс!

Автобус остановился. Тело Льва Каплуна, холодное, промороженное тело, извлекли из машины и уложили на шершавую поверхность гранитного стола. Без всякого интереса он наблюдал как укорачивают ногти, стригут волосы, избавляют от нечистот. Его интересовало только одно - время; он не понимал, как держат на работе таких бездельников и кто обучил их передвигаться с такой злонамеренной неспешностью и прохладцей.

Когда тело принялись окатывать водой, Лев зажмурился и нырнул внутрь. Горло горело, язык разбух и заполнил гортань. Он попытался ощутить губами прохладные струйки, но не смог, опять не смог. Вода лилась в полуоткрытый рот, не принося облегчения. Тогда он заплакал, впервые за последние пятьдесят лет, навзрыд, как ребенок, поставленный в угол, захлебываясь от бессилия, отчаяния и жажды.

Похороны были назначены на двенадцать, но первые гости появились у ограды кладбища сразу после одиннадцати. Площадка перед воротами быстро заполнилась, один автобус пришел из больницы, на втором приехали преподаватели и студенты. Стоянка для машин почему-то оказалась метров за сто от ворот, гости парковались вдоль кладбищенской ограды и гуськом брели к входу, щурясь от полуденного солнца. Разговаривать не хотелось, обменявшись - „вот, только так и встречаемся...“ - или „снаряды падают все ближе...“, закуривали, долго молчали с сурово насупленными лицами, и снова закуривали. Горячий воздух, словно дыхание, дрожал над раскаленными могильными плитами. Укрывшись в короткой тени памятника, пыльная кладбищенская кошка облизывала новорожденных котят.

Без десяти двенадцать появилась машина с номерным знаком ЦАХАЛа - Ихье привез Тосю и Лику. Машина медленно прокатила мимо стоянки и въехала за ограду. Из дверей покой-

ницкой вышел человек в черном и негодующе замахал рукой.

- Это жена и дочь, - крикнул Ихье.

Человек в черном снова взмахнул рукой, на этот раз приглашающе. Он даже как будто улыбнулся, не раздвигая губ, чуть наморщив кожу лба. Так приветствуют соседей и товарищей по работе, спокойной улыбкой причастности.

- Надо идти опознать тело, - сказал Ихье. - Кто пойдет?

- Еще минуту, - попросила Тося.

- Мама, - Лика заговорила по-русски, - помнишь, как в третьем классе я вернулась в слезах с шахматного турнира? Помнишь?

Ихье заглушил мотор. Ветер тихонько перекатывал песчинки по крыше машины. Тося молчала.

- Весь вечер я просидела без света в своей комнате. Единственный, кто мог объяснить причину моего поражения, был папа, но он не шел и не шел. Мне часто кажется, будто я до сих пор сижу в своей комнате и жду - жду папу, жду объяснения...

- Пора, - Ихье выпрыгнул из машины и открыл дверь перед Тосей. - Пора идти.

Через несколько минут Тося вернулась.

- Я не могу его узнать.

Человек в черном строго посмотрел на Лику и переспросил:

- Дочь, вы дочь?

- Да.

Он отвернул покрывало. Приоткрытый рот, заполненный ватой, желтая, будто пересушенная кожа, невыбритые седые волоски в складках подбородка.

- Это он.

Тося протянула руку и осторожно погладила Льва по щеке.

- Левушка, какой ты холодный!

Человек опустил покрывало, вытащил из кармана длиннополого пиджака пачку документов и принялся что-то объяснять Тосе. Она согласно кивала, подписываясь в помеченных местах, складывала документы, снова кивала, теперь уже Лике. В ее руке оказался стакан с водой, она пила, по-прежнему кивая, не в силах оторвать глаз от продолговатого свертка там, в углу

комнаты, на носилках из жести, с желтыми деревянными рукоятками.

К первому погребальщику присоединился еще один, в резиновых сапогах, перепачканных красной землей. Он вытащил каталку с телом из домика и медленно двинулся к навесу возле ворот. Первый шел сбоку, неспешно проталкивая слова сквозь нависающие надо ртом усы. Слова путались, цепляясь за жесткие рыжие волосы, наседали друг на дружку, распадались. Наверное, по ту сторону усов они обладали смыслом и назначением, но слушателям доставалась лишь тарабарщина с ашкеназским произношением.

Каталку завезли под навес.

- Прощальное слово, - объявил погребальщик в резиновых сапогах.

Стало тихо. За оградой водитель автобуса переговаривался с диспетчером по радиотелефону.

- Уже вынесли, - сообщал он, - народу так себе, еще полчаса и поедем обратно.

Черный строго посмотрел на собравшихся. Говорить никто не собирался.

- Вдумайся в три вещи, - вдруг совершенно четко произнес черный, - и никогда не согрешишь. Знай, из чего произошел, куда идешь и перед кем придется держать ответ.

Погребальщик в сапогах приналег на каталку и осторожно вывез ее из-под навеса. Широкая асфальтовая полоса влажно блестела под солнцем. Черный опять пристроился сбоку, заскрипели колеса и Лев Каплун двинулся в последний путь.

- Из чего ты произошел? Из зловонной капли, - продолжал черный. - Куда идешь? Туда, где прах и черви. Перед кем будешь держать ответ? Перед Царем Царей, Святым, да будет Он благословен.

Голос надломился, стих, потом вновь обрел силу, но слова запутались, задрожали, посыпались вперемежку и невпопад. Провожающие нестройно тянулись вслед за носилками, Лика и Тося оказались во главе процессии. Шли медленно, мимо белых и черных надгробий на красной комковатой земле. Ни трава, ни деревья еще не успели зацепиться, пустить корни в жирную

глубину. Редкие воробьи, поджимая ноги, скакали по нагретому мрамору.

Дорога пошла в гору. Погребальщик в сапогах оглянулся, как бы приглашая помочь, но охотников не нашлось. Тогда он пригнул голову и, набычившись, увеличил скорость.

У раскрытой ямы, равнодушно опираясь на лопату, стоял могильщик. Втроем они споро, отработанными движениями наклонили носилки, и тело Льва Каплуна скользнуло вниз, в прохладу и сырость. Могильщик придержал его за плечи, ловко подхватил и осторожно опустил на дно. Черный подал сверху серые бетонные плитки, могильщик уложил их на заранее приготовленные опоры и, выбравшись из ямы, принялся сбрасывать вниз землю. В три лопаты они управились за несколько минут.

Облегчение не наступило. Оно и не могло наступить, Лев теперь знал это, как знал и понимал многое другое, прежде сокрытое, казавшееся таинственным и тайным, а теперь явным и простым, как груда красной земли на его могиле. Знание мешало и жгло, он и представить не мог, что правда окажется такой болезненной, раскаленной и горькой. Она прожигала его жизнь сверху донизу, наворачивала на свои спицы мысли, поступки, слова и чувства, и некуда было скрыться, пригнуть голову, отложить на завтра, потому, что завтра уже наступило, бесконечное, нескончаемое завтра, заполненное до самых краев жгучим стыдом знания. О, попади он сейчас в начало, туда, где нити еще не успели связаться в узелки, он бы не дал им переплестись так безнадежно, как закрутилось и повелось, ах, если б попробовать еще раз! Лев понимал, что невозможно и даже кощунственно просить о том, чем пренебрег, испоганил и пустил на распыл, но все же взвыл, взмолился плачем великим и горьким, без надежд, без упования, одной только страстью раскаяния и боли. Он выл, вложив в этот вой все несчастья свои и все неудачи, о чем мечтал и даже не смел мечтать, и вопль его поднимался, словно смерч, черным, дымящимся столпом до самого синего неба.

Он еще выл, сжимая зубы так, словно хотел растереть их в порошок, белую хрусткую пыль с серебряными крапинками пломб, как мир вокруг поплыл и закачался, меняя цвета, сдвигая

формы, переставляя акценты и ударения. Вой тоже изменился, обратившись в писк, тонкий носовой писк, жалобный и протяжный. Он вдруг увидел мир снизу, почти с самой поверхности земли, вновь ощутил запахи, почувствовал зуд и жжение в кончиках растопыренных лап и голод, всепоглощающий голод, рвущийся из глубины дрожащего тела. Он был уже не Лев, он еще не знал, кто он, но это было не главным, главное состояло в том, что он снова был, игра продолжалась, пир жизни опять простирался перед ненасытными порывами его чувств. Последним движением угасающего сознания Лев понял, что мать рядом, и с писком облегчения ткнулся мордочкой в ее прохладные соски.

Солнце перевалило через зенит и осветило кошку. Это ей не понравилось; осторожно хватая зубами котят, она принялась таскать их через дорогу, в густую тень от высокой плиты с женским профилем на отполированной черной поверхности. Ненасытного сосуна, с белым пятном между ушей, она оставила напоследок. Он пытался сосать камни, комья земли, основание памятника и, не находя молока, обиженно пищал. Кошка ухватила его покрепче и побежала через дорогу.

Машина выскочила из-за поворота совершенно неожиданно - машины здесь не ходили, лишь иногда прокатывали коляску с мертвым человеком, а другие, пока еще живые, медленно шли вслед за ней. Кошка увернулась от первого колеса, но второе, завершая поворот, сбило ее с ног. Ненасытный сосун с белым пятном между ушей даже не успел запищать - машина прошелестела дальше, оставив на земле серую лепешку с выдавленной красной начинкой.

Тосе стало дурно. Ихье затормозил, остановился. Она с трудом выбралась из машины и побрела назад. Лика нагнала ее, обняла, усадила на черное надгробие из полированного итальянского мрамора. Горячий ветерок шуршал лентами венков на свежей могиле неподалеку. Тося тихонько раскачивалась, не сводя глаз с бесстыдно развороченной, вывернутой наизнанку земли.

„Вот все, что осталось. Ее партия кончилась, можно собирать ноты и отправляться домой."

Она вспомнила пустое кресло напротив мертвого телевизора и, несмотря на жару, зябко передернула плечами.

„Здесь и сейчас, только здесь и сейчас и ничего там, за пределами шахматной доски..."

Лика взяла ее за руку. Карандаш в нагрудном кармане джинсового комбинезона подрагивал в такт биению сердца.

- Дочка, - Тося сжала пальцы, - мы похоронили лучшего человека на свете. Лучшего, понимаешь, самого лучшего!

Лика согласно кивала головой. Крупные комки горячей земли трескались и рассыпались на рыжие зернышки. Синяя полоса моря угрожающе посверкивала на горизонте.

Ихье подогнал машину почти к самой могиле и осторожно усадил Тосю на заднее сидение.

- Успокойтесь, - сказал он, помогая пристегнуть ремень, - самое страшное уже позади.

Б-же мой, как он ошибался!

Как выглядит ангел смерти и куда исчезают надоевшие жены,
убийство премьер-министра при помощи каббалы
и секреты преуспевания бизнеса –
читайте в новой книге

ЯКОВА ШЕХТЕРА

ШАХМАТНЫЕ ПРОДЕЛКИ БИСКВИТНЫХ ЗАЙЦЕВ

«Это – нетривиальная проза...» – считает Дина Рубина.
«...Богом дарованный талант...» – пишет Анатолий Алексин.
«...Шехтер возвращает нас к главному, во имя чего вообще существует истинная литература...» – утверждает Эфраим Баух.
«Он любит и умеет искать свое слово...» – отмечает Григорий Канович.

230 страниц, 25 шекелей

Заказы по телефонам: 08-9457588, 050-927768

ПОЛДЕНЬ

Холодная вода плыла по желтым плитам кладбища каббалистов. Струйки дождя клевали спины зонтов и, рассыпаясь на капли, стекали в ботинки. Задирая ноги, туристы бродили по Цфату, словно голодные цапли. В гостиницах свободных мест не было.

Дан вернулся на автобусную станцию. Длинный перечень городов на щите расписания успокоил его. Затеряться среди топота и шума, пропасть в гуще незнакомых лиц. К черту пальмы у окна и приветливых деревенских котов под кустами бугенвилии!

Автобус на Рош-Пину отходил через четыре минуты. Сам не зная зачем, Дан купил билет, забрался на последнее сидение и опустил штору. Рош-Пина... Дыра, каких поискать. Куда там спрячешься среди двадцати жителей и пяти коров?

Автобус поплыл, закачался на поворотах горной дороги. Тучи остались наверху, вечернее солнце забегало то с одной, то с другой стороны, пока не пристроилось в заднем окне.

Сумерки сочились из горных расщелин, причудливые тени вставали навстречу автобусу. Они походили то на распластанных по земле великанов, то на трепещущие крылья гигантских птиц. В суете темноты и света Дан искал знак, подсказку, или хотя бы намек. Решение бродило рядом, и это предчувствие, беспощадное, как судорога, вело его за собой.

Он поднял штору. Идущие навстречу автомобили включили фары.

„Если мир, – думал Дан, – сплошная единая гармония, то в

каждой пылинке можно отыскать ответ на любой вопрос. Нужно лишь научиться смотреть, и ответ придет сам собой".

В Рош-Пине было темно и тихо. Дан постучал в первую дверь и спросил комнату. Ему объяснили, сложно и замысловато, хотя дом, как оказалось, находился за поворотом.

Он разложил вещи, откинулся на подушку и сразу заснул, иногда вздрагивая, словно от укусов комара. Забытое радио тихонько наигрывало бодрые марши.

Дождь шел всю ночь. Под фонарем у калитки ветер кружил палую листву, и дрожащие тени танцевали по лицу Дана.

Он проснулся перед рассветом. В глубине дома чуть слышно капала вода, теплая темнота лежала на постели. Он включил настольную лампу, пригнув абажур на гибкой ножке почти вплотную к желтой полированной столешнице. Премьер-министр грустно смотрел с фотографии, в полутьме его лицо казалось почти симпатичным. Дан подмигнул премьеру и отодвинул фотографию.

Он завтракал на веранде. Дождь кончился, от ноздреватых камней на склоне горы поднимался пар. Дан гладил пальцами бока чайника, жар нагретого фаянса всасывался в ладони, проникая до самой сердцевины рук, до розовой, трубчатой темноты костей.

Белый кот играл в подсыхающей траве. Кот изображал охоту: осторожно подкрадывался, замирал с поднятой лапой, словно боясь спугнуть дичь, потом прыгал, распушив хвост, на безобидную щепку и, празднуя победу, рычал торжествующе и злорадно. Заметив Дана, он растопырил усы, взбежал на веранду и замурлыкал елейным голоском. Дан кинул ему здоровенный ломоть колбасы, кот на секунду остолбенел, не веря в удачу, но, опомнившись, подхватил колбасу и тут же исчез.

Хозяйка пришла за подносом. Сквозь волосы цвета старинного серебра просвечивала розовая кожа, длинная юбка полускрывала перепачканные землей кеды.

– Это все дождь, – сказала она, заметив его взгляд. – Точит гору, а землю несет прямо в сад.

Ее руки, осыпанные брызгами старческих веснушек, были сноровисты и проворны.

– Да-да, – сказал он. – Конечно, во всем виноват дождь.

– Меня зовут Клара, – представилась хозяйка.

Дан не ответил.

Веселое солнце щекотало стволы теребинта. Пятна света медленно скользили по каменным плитам веранды, словно ленивые медузы. Дан вытащил из кармана куртки небольшую шкатулку и положил на стол. Резьба мягко струилась вдоль коричневой крышки. Углубления и выступы сплетались в сбивчивые, дрожащие линии, слезинки застывшего лака нависли в уголках. Неровный бег насечек и царапин напоминал зашифрованное послание, смутное, как глубина древесины. Безмолвный призыв, отчаянный и безнадежный, словно бутылка, брошенная с тонущего корабля. Прерывистое дыхание стыда водило рукой резчика, скрывая мольбу о спасении в россыпи мурашек, оспин и закорючек.

Он больше не увидит отца. Никогда, даже в последнюю, страшную минуту перед погребением, когда зовут опознать и откидывают покрывало. И в этом ему отказали...

Сестра позвонила из Бней-Брака через день после похорон. Просила прощения, но отец давно так решил.

Он умер утром, вернувшись из синагоги. Наклонился за упавшей ложечкой, а разогнуться уже не смог. Дан точно представлял как все произошло, видел лицо, с запавшими после ночи, проведенной над книгами, глазами. Они расстались тоже утром, десять лет назад.

– Г-сподь не допустит, – сказал отец, выслушав решение Дана. – Превратить нацию раввинов и каббалистов в скопище содат, проституток и полуграмотных крестьян? Не допустит.

Ты хочешь быть с ними. Что ж, иди, расшибай голову. Но запомни, когда обман лопнет, чудовище начнет пожирать собственный хвост...

– Вы ведь отдыхать приехали? – утверждающе спросила хозяйка, вкатывая столик с обедом.

Дан поспешно убрал шкатулку со стола и постарался улыбнуться.

– Тут недалеко сад барона,– продолжила хозяйка, расставляя тарелки, – настоящий, столетний, не чета моим кустикам. Стоит посмотреть.

Дан промолчал.

Капли жира беспокойно кружили по поверхности супа. Одинокий стебелек укропа метался среди волн, горячие массы, убегая от холодных кромок тарелки, бросали его из конца в конец безжалостно, бесконечно, немилосердно...

Дан приподнял тарелку за край и осторожно качнул. Небольшое движение супа оказалось для стебелька катастрофой. Гигантская волна закрыла полнеба, глыбы цветной капусты, поднятые со дна, обхватили стебелек и уволокли вниз, в дымящуюся, густую глубину.

– Сад, – подумал Дан. – Прижаться спиной к толстой коре, слиться с неторопливым движением кроны и загудеть в унисон, всасывая живительную энергию, чудесную, незримую силу.

Он благодарно улыбнулся хозяйке, теперь уже искренне, не отводя глаза в сторону.

– В музей зайдите, – добавила она, – очень интересный музей. А про обед не беспокойтесь, ничего с ним не станет, с обедом. Нагуляете аппетит, я его опять разогрею...

Дан взглянул на часы, плоскую луковицу с двумя крышками. Полдень. Он вышел на улицу. Рош-Пина казалась безлюдной, лохматая дворняга, развалившись, дремала прямо на булыжной мостовой.

Сад окружала ограда из старого пористого ракушечника. Лимонные бабочки грелись на замшелых камнях. Дан ходил по саду, приподнимая сломанной веткой листья папоротника. В их густой тени еще сохранилась влага ночного дождя; продолговатые жучки с черными точками на красных спинках, быстро перебирая лапками, сновали между сверкающих капель.

Скамейка под кипарисом казалась совсем сухой. Дан присмотрелся: морщины деревянного сидения подозрительно темнели. Он осторожно устроился на краешек и прижался плечом к стволу.

Крона глухо шуршала над головой, скрипели ветки, сипло, будто задыхаясь, ухали голуби. Ветерок, проплывая сквозь заро-

сли бересклета, тихонько посвистывал. То была мелодия одиноких коричневых шмелей и мышиных хвостов, мелькающих среди палой листвы, грустная песнь заброшенных кротовых нор и сухих омертвевших колючек. Сад походил на музыку, которую можно было потрогать руками.

Дан прикоснулся к стволу кипариса. Из под лохмотьев коры выскочил муравей и, озадаченно поводя усиками, бросился наутек.

Единственными экспонатами музея оказались фотографии. Смотрительница, коренастая девушка в слишком узких джинсах, обрадовалась посетителю.

– Рош-Пина – самый красивый город Израиля, – начала она, едва успев ответить на приветствие, – а его история не менее прекрасна, чем окружающие нас Галилейские горы!

Дан любил музеи; через стекло витрин жизнь представала логичной и правильной, оставалось лишь удивляться несуразности людских поступков. Пояснения экскурсоводов он обычно пропускал мимо ушей, в истории его интересовали не факты, а вкус времени. Тени от магния на старых фотографиях, полустертое золото орденов: механизм истории лежал разобранным на составные части. Он представлялся Дану чем-то вроде гигантских часов: день и ночь, сцепившись, словно шестерни, перетирали время в бесцветную, невесомую пыль.

Иногда Дан замечал отсутствие главной пружины; досадуя на халатность составителей, он искал ее на соседних стендах, обращался к экскурсоводам. После переспрашиваний и уклончивых объяснений Дан понял, что дело не в лени или нерадивости музейных работников. Пружина отсутствовала в самой истории, в настоящей, всамделишной жизни. Раздосадованный, он подолгу простаивал перед стеклом, мысленно пристраивая пружину на свое место. Выход из трагических ситуаций почти всегда оказывался простым, а потому вдвойне обидным для незадачливого человечества.

Девушка-смотритель продолжала лопотать, нести свою сладкую чепуху, мешанину из брезентовых палаток первопроходцев и осушенных дунамов земли. Голосок то взмывал вверх, то ниспадал почти до трагического шепота.

– Курочка, курочка, – подумал Дан, – юный доверчивый цыпленок...

Он отвернулся от фотографий и принялся рассматривать экскурсовода. Вблизи ее полнота не раздражала, в тугом валике под джинсами таилось что-то домашнее, уютное, как спящий котенок. Девушка покраснела:

– Что вы меня так разглядываете? – спросила она, отступая на несколько шагов, – я еще не экспонат.

– А вы не родственница вон того, с лопатой? – Дан ткнул наугад в одну из фотографий. – Очень похожи.

Девушка ахнула.

– Вы знали, наверняка знали, кто-нибудь из наших успел рассказать.

– Честное слово, сам догадался.

– Это мой дедушка, лучший часовщик Галилеи.

Дан заглянул девушке в глаза. Блестящие аккуратные маслины, смесь недоверия и желания рассказать, выплеснуть, ведь такая история, настоящая, живая, терпкая, как же можно молчать?!

– Итак, это ваш дедушка... Но почему часовщик и с лопатой?

Она подвела его к большой фотографии старой Рош-Пины. Черепичные крыши; знакомый, совсем не изменившийся за восемьдесят лет скат Голанских высот. Она осторожно прикоснулась указкой к трубе над одной из крыш.

– Видите этот дом на отшибе? Управляющий запретил деду строить в черте поселка. В те годы всем заправляли управляющие Ротшильда. Барон давал деньги на заселение Палестины, и каждый новоприбывший получал в его агентстве небольшую ссуду. Ссуду полагалось вернуть, но за всю историю поселенчества не нашлось никого, кто бы сделал это. Впрочем, барон и не ожидал возврата. Единственный, кого заставили отдать все, до последней лиры, был мой дедушка.

– Наивный котенок, – подумал Дан, – как тебе хочется превратить семейное предание в настоящую историю.

– Меня зовут Дан, – представился он. – А вас...

– Дина.

Девушка ему нравилась все больше и больше. Было в ней

что–то электрическое, какой-то флюид, неизвестный науке вид энергии. И кожа на лице, гладкая, смуглая кожа, без грубых пор, прыщиков и темных точек, скользкая и прохладная, словно сирийский шелк.

– Неподалеку от Рош-Пины кочевало племя бедуинов. Они крали коров, травили посевы, вырывали саженцы деревьев. Тогда управляющий разрешил бедуинам пользоваться поселковым колодцем. Он думал, что за воду они прекратят воровать. Бедуины стали пригонять отары овец и вычерпывать воду до последней капли. Проходило полдня, пока колодец наполнялся вновь. Дедушка считал это несправедливым и написал письмо барону. Письмо из Рош-Пины не ушло – почтмейстер передал его управляющему, а тот обвинил деда в краже сельскохозяйственного инвентаря. Суд назначил ему три месяца исправительных работ. Как раз в это время приехал фотограф, снимать для газеты колодец и бедуинов. Дедушка собирал овечий помет на площади перед колодцем и попал в объектив.

На улице уже стемнело. Ночь навалилась внезапно, густая темнота поднялась выше самых высоких гор. Она пришла законным путем, вовремя и по праву, но в ее мрачном торжестве сквозила подлая несправедливость, словно кто-то бьет тебя по щекам и не велит плакать.

Развалины дома поросли дроком, ветки кустарника трепетали над остатками крыши. Старая Рош-Пина лежала в руинах, третье поколение поселенцев оставило неудобные домики на вершине горы и спустилось в долину. Кварталы вилл под крышами из красной марсельской черепицы обрамляли ровные ряды фонарей.

– Здесь родилась моя мать, – Дина погладила мокрые от росы камни. – Наша семья прожила в этом доме почти сорок лет, пока управляющий не выдал деда англичанам. Они приехали ночью, взвод британской полиции из Цфата, выломали двери, перебили посуду, сорвали доски пола. Искали оружие, но кроме старой турецкой сабли на стене ничего не нашли. Деда арестовали и увезли в Цфат. Через неделю он умер от побоев.

Закричала ночная птица. Холодный омут тишины вздрогнул,

из развалин выпорхнула летучая мышь и унеслась в темноту. Хлопки ее крыльев напоминал жидкие аплодисменты родственников на провалившейся премьере. Синяя звезда сорвалась с неба и покатилась за Хермон.

– Ангел, – сказала Дина. – Вот бы узнать, куда он полетел и как его имя.

– Ангелы не любят фамильярности, – ответил Дан. – Они исполнят приказание того, кто назовет имя, но потом отомстят, ударят по слабому месту.

– Как интересно! – воскликнула Дина, беря его под руку. – Откуда вы это знаете?

– Учился в ешиве... Давно, когда был религиозным.

Рука оказалась горячей и твердой. Осторожно прижимая ее локтем, Дан понял, что влюбился, влип, попался по-юношески безрассудно и глупо. Внутри потекла томная сладость, древние, истертые слова зашевелились во рту, щекоча небо и язык. Прошедшая жизнь вдруг показалась ему безрассудным крушением духа, а то, что предстояло совершить – отвратительным и бесполезным предприятием. Уже запело, закружилось, понеслось на все лады и во все бубны, уже подступили к глазам предательские слезы умиления, когда Дан осторожно приподнял локоть.

– Как холодно, – сказал он, потирая ладони, словно стараясь согреться. – Давайте, я провожу вас.

Булыжник стыло пощелкивал под ногами. Перед новой Рош-Пиной его сменил асфальт.

– Где вы остановились?

– У Клары.

Дина вздрогнула.

– Клара – дочь того самого управляющего. Странно, как все пересеклось...

Кусты вдоль дороги шумели, будто актеры, позабывшие текст. Взошла луна, наложив друг на друга две одинокие тени.

– Бросить дом, – наконец произнес Дан, – это как вырубить сад или повесить собаку. Дома – будто деревья, пускают корни до самого сердца. А разве сердце можно переменить?

У калитки Дина снова взяла его под руку.

– Мой дорогой, – в ее голосе было больше материнской

теплоты, чем волнения отвергнутой девушки, – не мучьте, не терзайте себя. И это пройдет, обещаю вам, и это тоже пройдет.

Дан шел домой через новую Рош-Пину, мимо глухих заборов из белого пластика и мусорных баков в специальных нишах. По его щекам катились слезы.

„Почему, – шептал он, – почему ты бежишь от нормальных человеческих чувств, спокойной, устроенной жизни? Только бездна влечет тебя, тобой же придуманный, несуществующий долг. А может – ты сам призываешь ее, и сам ты бездна, а та, первая бездна бродит вокруг тебя по хрупкому краю, по скользкой, оплывающей тропинке.

Жениться на Дине, поселиться здесь, на склоне Галилейских гор и жить, просто жить, без сутолоки и толчеи нерешенных проблем. Пусть другие заботятся о благе народа и государства, пекутся о судьбе нации. А он будет наблюдать, как тяжелеет фигура Дины, как растут дети, восходит солнце."

Дан запрокинул голову. Звезды мигали и плакали в черной высоте, свидетели и соучастники, верные далекие друзья.

„Кто плачет ночью, – вспомнил он, – звезды плачут вместе с ним."

На веранде горел свет. Хозяйка не спала.

– Будете ужинать?

Отложив книгу в старомодном матерчатом переплете, она легко поднялась из кресла-качалки.

– Нет-нет, уже поздно. А за музей спасибо, действительно очень интересно.

Дан помедлил.

– Вы совсем не похожи на отца, не то, что Дина.

Клара улыбнулась.

– Фантазерка наша Дина, писательница. Придумывает истории и пробует на доверчивых туристах. Самые удачные записывает. У нее уже две книги так вышли.

Дан опустил руку на спинку стула.

– Зачем, зачем это ей?

Пальцы побелели от напряжения. Клара перестала улыбаться.

– Да вы не сердитесь, писатели, они же как малые дети. Игра для них важнее реальной жизни. В Рош-Пине уже никто не удивляется, знают, чего ожидать, вот она и пристает к туристам.

– Спокойной ночи.

Дан повернулся и ушел в свою комнату. Любимые книги ждали, уютно свернувшись на письменном столе. Дан посмотрел на часы. Полдень. Нет, полночь. Он приложил часы к уху. Они стояли. Дан открыл наугад первую попавшуюся книгу и принялся читать.

„Ешиботников подвели ко рву и выстроили в одну шеренгу. Раввин попросил у офицера еще несколько минут. Офицер взглянул на часы, плоскую луковицу с двумя крышками, и согласился.

– Когда первосвященник резал жертву, – заговорил раввин простуженным голосом, – состояние его души приравнивалось к остроте ножа. Неуверенность или страх портили приношение, словно зазубренное лезвие. Сегодня мы восходим на алтарь, и от нас зависит, возродится ли после войны еврейский народ. Мы должны принести эту жертву в душевной чистоте и спокойствии, без отчаяния и мук, иначе она будет принята.

Раввин обошел шеренгу. Возле каждого он замирал на долю секунды и заглядывал в глаза. Дойдя до конца он обернулся и произнес успокоенным голосом:

– Можете начинать."

Дан отложил книгу. Внутри было ясно и светло, будто зажгли десятки поминальных свечей.

„Жертва должна быть чистой, – повторял он, расхаживая по комнате, – а часы нужно чинить. Сколько бы это ни стоило, часы нужно чинить."

Он вышел на кухню и, стараясь не шуметь, тщательно вымыл руки. Вернувшись в комнату, сел за стол и решительным движением вытащил шкатулку.

Прошло несколько минут, тяжелых, словно старинные свинцовые пули. Шкатулка беспокойно блестела, тени от листьев продолжали свой танец на белом полотне подушки. Дан переложил книги на край стола и придвинул серебряный подсвечник к портрету премьер-министра.

В приоткрытое окно потянуло свежестью, беззвучно вспыхнула молния, раз, другой, мягкий раскат сотряс стекла. И стало так муторно, так невыносимо гадко и скверно на душе, будто тысячи кошек скребли и кусали ее невидимую плоть.

Дождь застучал, заколотил в окно. Его шум напоминал дробный перекат барабанных палочек, то ли зовущих к выносу знамени, то ли приглашающих на казнь.

Дан спрятал шкатулку в карман и выскочил из дома. Желтый круг настольной лампы страшил его, Дан бежал сквозь острые струи дождя, стараясь намокнуть и устать до такой степени, чтобы без страха вернуться в комнату, где посреди стола переливался и сиял серебряный подсвечник.

Холодные капли скользили по лицу Дана, он ловил их губами и целовал. Всего минуту назад там, в недоступной вышине, они щекотали крылья ангелов, а теперь, вливаясь в распахнутый рот, становились частью его тела.

– Дождь, – шептал он на бегу, – единственная живая ниточка, соедини, сплети меня с небом, дождь, дождь, дождь...

Он возвратился под утро, снял мокрую одежду и, старательно растеревшись полотенцем, рухнул в постель. Когда первая утренняя птица завела под окном свою побудку, Дан уже спал, укрывшись с головой одеялом, изредка вздрагивая, словно от комариных укусов.

Проснулся он поздно. На полу, под раскрытым окном стояла лужа воды, горько пахнувшая осенью. Дан пообедал на веранде, наблюдая, как вершины гор плывут в тумане нагретого воздуха. Вчерашний кот сидел на подсохшей спине камня и умывался. Дан позвал его, но кот только презрительно фыркнул. Дан бросил кусок колбасы, стараясь попасть поближе к камню. Кот спрыгнул в мокрую траву и ушел, брезгливо отряхивая лапы после каждого шага.

В три часа дня Дан принес из комнаты блокнот и написал стихотворение.

На террасе полуденной,
Там, где солнца плевки
Истекают слюной,
Безнадежно и пряно

Теребит ветерок
Теребинта витки,
На часах только полдень –
Умирать еще рано.

Перед закатом над Рош-Пиной проплыли розовые облака. Наполненные истомой и негой, они скрылись за склоном горы, и сразу наступила темнота. Дан посидел еще сорок минут, рассматривая дрожащие огоньки поселений на Голанских высотах. Его киббуца не было видно, отроги Хермона закрывали ряды аккуратных домиков под крышами из красной марсельской черепицы. Он сажал первые деревья, выравнивал землю под фундаменты домов, прокладывал дорогу. Их было тридцать поселенцев, пионеры, первое зернышко.

– Обман, все обман, – подумал он. – Лжецы: и те, кто посылал нас сюда десять лет назад, и те, кто сегодня решил вернуть эту землю. Но он не марионетка, не тряпичная кукла-замарашка. Он своими руками взорвет дом, спилит деревья. Сирийцы получат только развалины, вторую Кунейтру...

Стало холодно. Дан поднялся и вошел в комнату. Включил свет, достал документы и тщательно порвал их. Те, что не мог порвать, разрезал ножницами на полоски и утопил в унитазе. Потом тщательно мыл руки, долго брился, придерживая пальцами дергающуюся щеку, надевал чистую одежду. В семь часов вечера он уселся за стол, достал из шкатулки черную свечу и вставил в подсвечник. Свеча горела ровно и тихо, источая аромат, похожий на запах шафрана. Дан открыл книгу и произнес имя.

Премьер-министр закончил речь соленой шуткой. Женщины улыбались, прикрываясь от смущения программками съезда, мужчины открыто хохотали, любовно поглядывая на премьера. Он был свой, плоть от плоти, и говорил по-народному просто и откровенно.

Клакеры ударили в ладоши и зал подхватил, откликнулся нескончаемой овацией. Премьер аккуратно собрал бумаги в папку и направился к выходу. На лестнице, залитой желтым светом прожекторов, он вдруг охнул и, побледнев, ухватился за поручень.

– Что случилось, – подскочил референт, – что, что такое, что, что, что?

– Все в порядке, – встряхнул головой премьер, – уже все в порядке.

Он еще раз встряхнул головой, словно высвобождаясь из невидимой сети, и, отпустив поручень, двинулся дальше.

Под истерию предвыборной кампании сообщение о смерти неизвестного туриста прошло незаметно. Документов при нем не оказалось, отпечатки пальцев в уголовной картотеке не значились. Тело увезли в Цфат, в окружную больницу. Вскрытие показало смерть от обширного инфаркта, случай в таком возрасте маловероятный, но возможный. Полиция открыла дело чисто формально, поскольку дела, собственно, никакого не наблюдалось. Неизвестного похоронили на кладбище Цфата, неподалеку от надгробного памятника бывшего управляющего барона. Кроме могильщиков „Хевра-Кадиша“, за носилками шла лишь смотрительница музея Рош-Пины. Поминальная свечка, зажженная ее рукой, горела на могиле двадцать девять дней, но и на это никто не обратил внимания. Свеча погасла только на тридцатый день, огонек дрогнул и пропал от легкого ветерка, похожего на дуновение крыльев пролетавшего мимо ангела.

НОВАЯ КНИГА РИТЫ БАЛЬМИНОЙ

«СТАНЬ РАКОМ»

144 страницы, цена 30 шекелей

Продолжение темы, заявленной в книге
„Флорентин, или послесловие к оргазму“.

Справки по телефону: 03-6885240

Владнир Донец

И ПРИДЕТ ЧЕЛОВЕК

Дочери –
на ее новый Ту би Шват

И среди деревьев есть духовные сущности повыше, есть пониже; но и духовные аристократы, и плебеи духа, и середина, и те, что выше середины, но ниже аристократии, и те, что ниже середины, но выше плебейства, – все приглашались, ибо люди – существа другого рода. У людей резче граница между идеальным и материальным, деревья же более цельны, более едины, поэтому многие и не различают их духовное, хотя есть и такие, кто даже знает их язык.

К их числу принадлежал и царь Шеломо, который, как известно, понимал язык животных, птиц и растений. И вот это-то проникновение в тайну деревьев, – ибо срок и место своего бала деревья не афишировали, – оказалось для великого царя столь роковым, что именно после всех этих событий и царствование его начало клониться к закату, и само царство распалось после смерти царя.

А началось все с того, что царица Шевы испытывала царя Шеломо загадками. И не было для царя ничего сокрытого. И была последняя загадка царицы о деревьях: когда собираются вместе души всех деревьев? И задумался царь впервые, и вспомнилось ему, как однажды он шел придворцовой аллеей и услышал то, на что не обратил тогда внимания, а сейчас пожалел об этом: из сомкнувшихся крон двух деревьев донеслось „Ту би

Шват". „Ту би Шват", – сказал царь, потому что ему нечего было сказать больше.

И вскинула царица прекрасные руки свои в браслетах и запястьях работы скрытых мастеров и устремила к небу длинные пальцы, унизанные перстнями и кольцами несказанной драгоценности, и была она вне себя. И воскликнула с восторгом и нескрываемым томлением: „Да будет благословен Всегосподь, Бог твой, благоволящий к тебе, посадивший тебя на престол Исраэля!". И опустила слегка царица руки, простирая их уже к царю Шеломо, ибо знала она от своих мудрецов о празднике Ту би Шват – это и было ее главной загадкой.

После отъезда царицы Шевы царь Шеломо задумался о происшедшем, но объяснения не находил. И смущена была душа его, ибо любопытство не дремало. И даже флот Царского царя Хирама, привезший из Офира золото, сандаловое дерево и драгоценные камни, отвлек царя Шеломо не надолго. Отдав необходимые распоряжения об устройстве сандаловых перил в Храме (не забыв и о своем дворце), царь повелел, чтобы арфы певцов в доме Всегосподa также были из этого дерева, инкрустированного драгоценными камнями, которых прямотаки некуда было девать, столько их напривозили и надарили. С золотом было проще: из него царь приказал сделать щиты. Затем Шеломо поприсутствовал при сооружении своего престола и имел несколько официальных встреч с соседними монархами, наслышанными от царицы Шевы о Божественном уме царя Исраэля и жаждавшими лично удостовериться в этом. И снова – дары, дары, дары... Только мудрость царя смогла найти выход: серебро было сделано равноценным простым камням (оно во дни царя Шеломо не ценилось ни во что), а кедры приравнены были к сикоморам, что во множестве росли в долинах.

Затем нахлынули проблемы, связанные с Таршишским флотом, конями и колесницами из Египта и Кевэя, и понял царь, что конца этому не будет, и отстранился, передав дело приспешникам, и вернулся мыслями к последней загадке царицы Шевы, и ноги его сами понесли к тем двум деревьям, из сомкнувшихся крон которых и донеслось то, что привело в восторг прекрасную царицу.

Зноен был день тот, а время было полуденным. Солнце вырывалось из набрякшей листвы, и лучи его, даже рассеченные зеленью, жалили немилосердно и советовали скрыться под любым кровом. Но царь шел, и ноги несли его. Легкий капюшон облегчал его участь, а юный хэйтиец, раб с опахалом, пытался, поспевая за царем, хотя бы немного повеять на него взмахами сплетенных перьев страуса.

Два больших теребинта все так же смыкались ветвями, и Шеломо устроился на скамье в их тени. Хэйтиец равномерно колыхал опахалом, было душно и томительно. Прилетели две пестрые птицы и уселись на дереве по другую сторону аллеи. Птицы защебетали, покачиваясь на ветвях в такт движений опахала. И царь заметил это. Что это за птицы, спросил он у раба. Юноша устремил глаза вверх, нарушив установившийся ритм страусиных перьев, и Шеломо обратил внимание, что и птицы изменили ритм покачиваний, приспособив его к взмахам опахала. Хэйтиец сообщил, что птиц называют „райскими". Царь велел ему приостановить мановения, и птицы немедленнно перестали качаться, вновь защебетав. „Ту би Шват, – услышал царь, – Новогодний бал деревьев." – „Может, нас пустят на этот раз: что за деревья без птиц?" – „И это будет все там же?"

Шеломо насторожился, ожидая ответа, но первая птица не торопилась с ответом. Возобновив раскачивания, она бойко поглядывала на царя, но, покачавшись, прощебетала: „Ну, конечно, там же – где же еще быть Новогоднему балу!.." И в этот момент появилась рабыня и, низко поклонившись, сообщила царю, что его последняя, возлюбленная жена № 631 ждет его. Птицы сразу же улетели, и раздраженный Шеломо встал и подумал: „Зачем я полюбил в 631-й раз!", хотя точно знал, что не в последний, и, чтобы, не откладывая, отомстить за неуслышанную тайну, вспомнил о принцессе из Цейдона, на которую он положил царский свой глаз некоторое время назад во время встречи с ее отцом. Правда, соответствующий обмен дарами оставил у Исраэльского царя не лучшие воспоминания, поскольку царь Цейдона, не знакомый с положением дел в Исраэле, подарил Шеломо очередной корабль с серебром, зато его дочь была очаровательна, и Шеломо по дороге к позвавшей его

жене отдавал распоряжения о составе марьяжной делегации в Цейдон.

Жена № 631, довольно милая эдомская княжна, – правда, несколько рыжеватая с точки зрения приближенных царя, не ведающих, что именно за это качество Шеломо, которому приелись белокожие и черномазые жены, и полюбил в 631-й раз, – увидела своего повелителя не совсем таким, как привыкла в течение нескольких недель супружеского счастья.

– Кое-что случилось, милый? – спросила она с приятным эдомским акцентом и с неподдельной тревогой.

– О том же я хотел спросить у тебя: ведь ты позвала меня.

– О да, – ответила лучезарная эдомитянка, – я хотела быть узнанной, что ты будешь ведать на ужин.

Шеломо посмотрел на жену долгим взглядом, возненавидел ее, понял, что любовь была ошибкой, и сказал с черным юмором (вот когда появился этот радостный жанр):

– Двух райских птиц, зажаренных на костре нашей любви.

Так у царя испортилось настроение, огорчение души весьма усилилось, и появились мысли о суете сует и даже о вечной суете. Впрочем, они появились не сегодня, и царь, с удовольствием вспомнив о своих литературных занятиях, отправился в кабинет.

Усевшись за стол и развернув пергамент, сын Давида пробежал глазами написанное накануне: „Ибо у всякого дела – время и закон, ибо зло человека тяготеет над ним. Не знает он, что еще будет, а уж когда это будет – кто ему скажет?“ Зачем Всегосподь даровал мне мудрость, – подумал царь, – чтобы я, благодаря этому дару, понял тщету мудрости? „Нет человека, властного над ветром...“ – читал Шеломо и думал, что у Бога можно просить только Бога, – все остальное само себя съедает. „...И нет власти над днем смерти...“ – почему я не попросил бессмертия или, по крайней мере, долголетия патриархов? Или жизнь тоже как поток серебра, если его много, или как эти бесконечные жены?.. „...И отцветет миндаль, и тяжелеет кузнечик, и рассыпется каперс, ибо уходит человек в вечный дом свой, а плакальщики кружат по площади...“

И опустил мудрейший из царей земных свой прекрасный

лоб на ладонь, и обратил глаза в окно, откуда виден был сверкающий край упоительного пруда, окаймленный ухоженным парком, неприступная крепостная стена с могучими воинами на ней в доспехах и при оружии да величавый орел, паривший над каменистыми утесами близлежащей вершины. „...До тех пор, пока порвется серебряный шнур, и откатится золотая чаша, и разобьется кувшин у источника, и покатится колесо в яму..." Где его дерево Жизни, чтобы вернуть все хотя бы к тем дням, когда он завершил строительство Храма! А ведь и оно, наверное, будет на своем новогоднем празднике...

И еще глубже задумался царь Израэля. Рабы и слуги приходили, говорили что-то и уходили, не дождавшись ответа. Голубое небо за окном, где орла уже не стало, приобрело оттенок нового света: приближались сумерки. И понял сын Давида, что подкрадывается к нему самое большое искушение в его жизни, страшное, греховное, непозволительное, опасное, чреватое последствиями, – то, чем он ни разу не воспользовался, хотя Бог дал ему знание, как повелевать ду́хами. Оторвался царь от своих дум, ибо решение было принято, и снова начал видеть и слышать окружающее, узрев пред собою домоправителя, приглашавшего Шеломо в тронный зал, ибо мастер Хирам закончил большой царский престол, и царь, напомнил слуга, сам назначил время презентации. Солнце катится к Великому морю – не соблаговолит ли царь не промедлить?

Миновав ряд переходов, где при каждом повороте стояли два стражника, Шеломо вступил в тронный зал и, направившись прямо к престолу, остановился в нескольких шагах от законченного трона. Царь все время следил за работами, но все равно не мог сдержать удовлетворения, созерцая шедевр; угнетенное состояние его духа рассеялось. Великий мастер Хирам глядел на свое детище, как смотрит мать на сына перед расставанием. Слоновая кость престола матово белела в лучах заходящего солнца, а золото отделки сияло. Царь Шеломо ступил на первую ступеньку из сандалового дерева, и львы с обеих сторон ее подняли морды. Царь ступил на вторую – и львы второй ступеньки, словно стражи, подняли лапы. Царь продолжал подниматься – и могучие золотые львы, как живые, вставали, приветствуя

царя, и когда Шеломо уселся и положил руки на подлокотники, два верхних льва зарычали на невидимых врагов, которых всегда хватало. Царь с улыбкой оглядел приближенных; склонившись, положил руку на плечо Хирама, являя царскую удовлетворенность и человеческое восхищение, и отпустил всех, сделав знак, что хочет остаться наедине с собою, с безмолвным залом своим и со всем миром, замирающим в закате.

„...И отцветет миндаль..."

Шеломо смотрел перед собою, и остранялся все больше и больше, и отрывался все дальше. Исчез тронный зал, исчез трон, исчез Йерушалаим, исчезла твердь святой земли Исраэля, исчез и он, великий царь, – все исчезло, остался только могучий душевный поток, сосредоточенный на том, кто отзовется ему из других миров; и, вступив в это борение, Шеломо знал: если не отзовется, он, Шеломо, умрет, и на престоле, какого не было и не будет ни у одного из бывших или будущих царей, останется закаменевший труп с омертвевшим лицом прекраснейшего из царей.

„...И покатится колесо в яму..."

Шеломо знал Бога, Бога его отцов, творца неба и земли. Когда царю говорили „твой Бог", он знал, что каждый вкладывает свою высоту в слово „Бог" и эта высота дарована ему Богом. Но царь никогда не задумывался, с помощью какого душевного состояния он, Шеломо, чувствует Бога, слышит Его, разговаривает с Ним. И сейчас, устремив духовный порыв, созданный избранностью и верой, к высшим мирам, он знал, что в этом устремлении и есть та полнота, что отпущена ему Божьей благодатью. Ах, Шеломо, Шеломо, думал его хранитель в высотах мира, что же ты тратишь, премудрый царь!.. Зачем?.. И на что?!

Первое, что внятно ощутил Шеломо, перестав ощущать земную действительность, – это искаженность привычного. Окружающее являло себя в необъяснимых сочетаниях и образах. Возникали и исчезали полулица-полупредметы, издававшие нечленораздельное. Вон покатился глаз с оборванным телесным лоскутком и с дырявым зрачком. Этой дыркой глаз взглянул на Шеломо, норовя что-то сказать, но не смог и покатился во тьму. Зато появился рот без губ с остатком гнилых зубов и с тем самым

глазным лоскутком вместо языка. „Вижу память, – промолвил язык-лоскуток, – и памятью вижу...“. Рот распался, не досказав, и зубы, словно черные кометы, устремились, оставляя черный шлейф, к Шеломо, грозя вонзиться, и царь почувствовал, как его уносит от них. Словно черные стрелы с остриями-иглами, готовыми впиться в обращенные к ним глаза, неслась стая черных зубов за тем, что́ ощущало себя царем Шеломо. Вдруг возникло идольское подобье и заорало: „Где кровь твоя, правда!“ – и все окружающее смешалось, и Шеломо увидел две тени, что пытались засунуть в ящик для отходов свежеотрезанную, еще истекающую кровью стройную женскую ногу. „Изуверство?.. Изуверство?!. Изуверство?!!“ – завопрошал идол и стал подниматься на гору перед Йерушалаимом – ту самую, что видна из царского окна. И тут Шеломо увидел своего отца Давида, стоящего со свечой в руке перед Тьмой. Это была особая тьма – это была какая-то тьма-тьмущая, невозможную черноту которой на земле не знают. „Отец!“ – позвал Шеломо. Давид равнодушно взглянул на сына отсутствующим взглядом и шагнул во Тьму. Шеломо как бы потянулся за ним, но откуда-то сверху упала расслабленно рука скелета, возлежащего повыше, ударила Шеломо по плечу, давая понять, что Туда хода нет. И затрепетало, зазвенело мелодичное эхо милых, приятных голосов: „Почему бы нет? Почему бы нет? Почему бы нет? Почему бы нет?“. А Шеломо лежал, вытянувшись в прозрачном ручье, песчаное дно которого мягко облегало его, а чистые струи обтекали со всех сторон и смывали, смывали, смывали... Смывали белоснежные висонные одежды царя, смывали золотые украшения и драгоценности, смывали бороду и волосы, ресницы и брови, глаза и губы, грудь, ноги, руки, и понесли светлые воды в лучиках невидимого солнца нечто от Шеломо, но что именно, он и сам не знал, наблюдая сущее уже не изнутри, а как бы со стороны, устремленный в неведомую даль плавными струями. Было легко и светло, а рядом была ночь, подсвеченная искусственно-блеклой луной, виднелись руины неведомых зданий, сидели люди в скорбной задумчивости, опустив голову между колен, стояла обнаженная женщина с неотразимыми формами, устремив на Шеломо наглые, вызывающие глаза, и царь узнал

жрицу Кемоша – идола своей жены-моавитянки. Почему она здесь?.. Как она здесь? Но поток мчал его дальше и внезапно выплеснул в белесый туман, и царь Шеломо почувствовал, как кто-то взял его за руку и, словно ребенка, повел, уверенно лавируя в лабиринте туманных скольжений.

А туман распадался ватными прядями и, сплетаясь, представлял в туманных картинах, словно в зыбких видениях, чью-то неправдоподобную жизнь. Белесые складки слепили юношу, забрасывавшего в туманное небо петлю из тумана. Петля соскальзывала и ронялась в клубящуюся белизну, захватывающую иллюзорного юношу и снова выбрасывающую его. Юноша выныривал и опять забрасывал свою белую вервь с петлей на конце. А небо сбрасывало ее, а юноша вновь забрасывал, а рука вела Шеломо, а Шеломо глядел, как призрачный юноша бросает. И упала петля вниз на голову бросающего, и проскользнула голова в отверстие, обвилась шея, и повис туманный юноша между неуловимым небом и бесплотной землей.

– Обессмысленность жизни полна смысла, – сказал голос невидимого пастыря. – Ступай дальше один, царь Шеломо, и помни: здесь нет времени – здесь время творится каждым для себя. Но ты жив землею: ты должен вернуться или останешься здесь навсегда в е ч н о й д у ш о ю и – горе Исраэлю, ибо царь его будет телом без души.

И замерло, и съежилось сущее Шеломо, ибо он вспомнил о жрице Кемоша, увиденной здесь.

– И остерегайся в е ч н о й д у ш и: горе царю Шеломо, если он не распознает ее, но, распознав, опусти глаза и молись. И знай, что здесь всегда Шват и – никогда Швата: человеку не понять этого, пока он не уйдет сюда...

И Шеломо почувствовал, что остался без поводыря, и захотел вернуться на землю. Но то духовное, что вознесло его сюда, уже замкнулось с вожделенной целью и не отпускало, ибо благодать его требовала единства.

Шеломо оглянулся и увидел зеленеющий куст терновника – такой зеленый, словно дело было под Йерушалаимом. Царь зачарованно смотрел, а терновник рос на глазах, становясь большим кустом и расцветая дивными цветами. Цветы были

так хороши, что царю еще больше захотелось вернуться на родную землю, но благоухание от цветов было не по-земному сильным, и Шеломо потянулся к ним. В тот же миг куст вспыхнул благоуханным пламенем, и царь Шеломо покрылся пламенем вместе с кустом. Стихия огня охватила все. Протяженности вокруг не было, но было ощущение, что все в огне. Все горело, полыхало, безумствовало в ужасных валах пламени, но – не сгорало в этом холодном огне, и Шеломо его не чувствовал. Но видел, не видя протяженности. Было ощущение, что его самого нет: все – огонь, но он – все, он необъятен в огне, он вездесущ в бушующем пламени, он захлестнет сейчас вселенную, раскалит землю добела, растопит бесконечное море, и все станет однообразно единым в великом и холодном Огне.

В огне произошел внутренний сдвиг, он словно хлынул куда-то без движения, и царь Шеломо увидел мириады мириад деревьев в белом пламени – горящих, но не сгорающих. Ослепительный свет сделался мягче, пожар космоса уполз внутрь себя, и деревья вместо листьев забелели ласковым жаром, словно покрылись инеем. Шеломо закрыл глаза и стал молить Всегоспода Бога, чтобы Он позволил ему возвратиться домой.

– Боже всеединый и единственный, милосердный и милующий, человек – дитя: может ли дитя считаться человеком? И должен ли человек платить за ошибки, содеянные без выбора? И есть ли выбор там, где нет Твоего милосердия? И милосердно ли давать человеку мудрость – ведь и дитя тянется к огню?

И раздался голос.

– Страдают не землей, царь, не воздухом, не водой и не огнем, – но пуповиной, связывающей неизвестно кого с неведомо кем, скомканной ногами жены, не оборванной истлевшими пальцами, проглоченной зверенышем, забытой ненужными, раздавленной, разорванной в полуузлах, развешенной между мирами, развевающейся, кольцующейся, набрасывающейся петлей...

„Это в е ч н а я д у ш а“, – понял Шеломо и попытался подавить чувство приближающегося безумия.

– Я помогу тебе, царь, – продожал голос, – вот твое дерево, а вот полив: поливай.

Шеломо увидел дерево и наполненные мехи возле дерева. Взяв самый большой из них, царь начал поливать: из огненного меха полилась горячая дымящаяся кровь.

– Это же моя кровь! – воскликнул Шеломо.

– Конечно, – ответил голос. – Неужели ты согласился бы чужой? Поливай, ибо не скоро взращивается.

– Это ли дерево Жизни?

– Что тебе до проблем Адама, царь! Древо ли Жизни, древо ли Познания: не исчезнешь, ибо умрешь. Небытие страшно, а жизнь, смерть – ведь это п о л н о т а, это – все. ВСЕ!!! Не страшись смерти – в бессмертии нет в о з р о ж д е н и я.

И снова взмолился царь Всегосподу, Богу своему, и ударил прах земли в лицо сына человеческого по имени Шеломо бен Давид, и запорошил глаза, и понес, и закружил, и бросил его на твердь, и распластал, и прижал его к земле, словно ногою, будто червя, и отпустил...

И долго еще смотрел пред собою царь Шеломо, упершись в подлокотники своего престола в тронном зале, пока в душевной глубине своей не услышал тот же голос: „Так какое дерево полить?“

Вновь появилось ощущение подступающего безумия, и, чтобы отвлечься от наваждения, царь Шеломо вызвал главного евнуха. Сообщив евнуху, что жен слишком много, а будет еще больше, судя по всему, царь предложил ему наладить учет, учредив для этого картотеку. В основу учетной картотеки могут быть положены несколько принципов. Жен можно распределить по цвету волос, глаз, кожи, по росту и ширине бедер, по соотношению талий и бюстов. Каждая карточка будет иметь гравюру, отчеканенную Хирамом...

Шеломо больше не мог сдержать то подспудное, что рвалось в его сознание, и недавние картины и образы всплыли, но последовательности в воскрешении пережитого не было, картины мелькали разрозненно, зато было неумолимое ощущение какой-то незавершенности и потребности в завершении.

Появился раб и сообщил, что сорок седьмая жена, моавитянка, намерена совершить жертвоприношение Кемошу. Не желает

ли царь сопроводить ее? И Шеломо вспомнил о жрице Кемоша...

Да, это была она, обнаженная, великолепная, с атлетически рельефными, но женственными формами и с тем же вызывающе-наглым взглядом. Увидев царя, жрица передвинулась, чтобы последние лучи заходящего солнца высветили ее изумительное тело и красивое лицо, холодное и отрешенное.

Кемош, отвратительный идолище, установленный на плоской вершине горы, полыхал глазами и сучил лапами. Его детородное было прикрыто, но ненадежно, – видимо, чтобы раскрыться в момент кульминации. Царь понял, что главная роль в этом моменте будет за жрицей – новобрачной, невестой Кемоша; и еще понял вдруг, что сейчас-то и будет завершение.

Между тем на поляну вышли пять мужчин в набедренных повязках и, кружась, припадая к идольскому паху и неистовствуя, положили начало действу. Прислужницы-моавитянки, стоящие полукругом возле своей госпожи, 47-й жены царя, принялись гортанно подвывать, задвигав разными частями тела, и великолепная жрица, невеста идола, отделилась от скалы и вошла в центр.

В этот самый момент, словно из-под земли, вырос приближенный слуга и вполголоса доложил Шеломо, что еще вчера от Цорского царя Хирама прибыл гонец. Неуважение к посланцу – неуважение к пославшему, а уже имел место досадный прецедент, когда царь Цора выказал свое неудовольствие, заметив по поводу двадцати галилейских городов – подарка царя Шеломо: чтó это за города, которые ты дал мне, брат мой?

Царь Шеломо повернулся, чтобы покинуть поляну с идолом, но случилось невозможное: обнаженная жрица Кемоша, совершив двадцатиметровый прыжок, очутилась перед царем. Начав ритуальный танец, она заговорила, впадая в транс:

– И отцветет миндаль, и отяжелеет кузнечик, и рассыпется каперс; ибо уходит человек в вечный дом свой, а плакальщицы кружат по площади...

Выстраданные слова Шеломо, записанные им наедине с самим собою, Кемошева невеста сопровождала телодвижениями, превращающими сокровенное в пошлые сетования, в скоморошье непотребство.

– ...до тех пор, пока порвется серебряный шнур, и откатится золотая чаша, и разобьется кувшин у источника, и покатится колесо в яму; и прах возвратится в землю, чем он и был...

И опустилось что-то в сердце царя, и глаза померкли. Увидев это, доверенный слуга, не раздумывая, выхватил короткий меч свой и умело воткнул его между ребер жрицы. Новобрачная вновь совершила невозможное, отпрыгнув к жениху своему Кемошу, и отдалась идолу. Кровь из ее сердца стекала на камень, с камня на камень, с камня на камень, а под нижним камнем стоял раскрытый мех, и, наполнив его, кровь закапала на безымянное деревце, поливая его из переполненного меха. Царь Шеломо узнал с в о й м е х.

С тех пор ему более не являлся всеединый и единственный Бог. Но праздник Ту би Шват учредил именно царь Шеломо. Правда, огненные деревья постепенно стерлись из его памяти, и еще при жизни царя их Новый год перестали праздновать. Восходя к идолам вслед за своими женами, Шеломо проходил мимо корявого деревца, орошенного кровью Кемошевой невесты. Оно стойко росло на голом камне; ни солнце, ни ветер, ни войны, ни люди, ни звери не сломили его. Йерушалаим умирал и возрождался, а идольское дерево не умирало. Но и не возрождалось.

А Ту би Шват возродился, и сад, где проиходит новогодний бал, по-прежнему ждет того, кто распознает древо Жизни и древо Познания, ибо они похожи.

Что ж до царя Шеломо, то, состарившись, он охладел к женам и наложницам, идолослужения их игнорировал и, возобновив литературные занятия, написал несколько книг и возвращался к уже написанному, попробовав изменить слова в конце одной из них:

И зацветет миндаль,
И подпрыгнет кузнечик,
И зазеленеет каперс,
И придет человек строить свой вечный дом.

Написанное царю понравилось, но в книгу не попало, ибо не годилось для этой книги, а новую царь так и не написал.

Элла Иоффе

У КАМИНА

Зимний торжественный день по краям розовеет,
побагровев и остыв – посинел, превращается в вечер.
Остановив самовольно теченье событий и время,
я пребываю в блаженнейшем из одиночеств –
в тесной избушке, в лесу, на краю Суоярви,
где при свече, в дружелюбном общенье с тобою,
демонион мой, впервые себя не корю за безделье.
Долго вожусь я, в камине огня развести не умея –
вспыхнув легко, как любовь, разгореться бедняга не в силах:
видимо с ним, как с возлюбленным, мне не хватает терпенья.
Впрочем, любви не в пример, – здесь легко побеждаю:
вот затрещали поленья, по стенам задвигались тени.
Славно на пламя глядеть сквозь вино в граненом стакане,
молча сидеть, ворошить красночерные угли...
то, что было огнем, что было когда-то любовью –
больше не жжет, но последним теплом согревает:
можно, пока не остыло, испечь в нем картофель
– или стихи, озаренные светом последним.

январь 1996

ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ

Моему другу Элизабет

В Кайну – край, где озера и реки водою наполнены черной,
на откосах сосновых, где ягель хрустит под ногами и розовый
вереск –
в эту сонную, бедную глушь я опять и опять обреченно
устремляюсь, упрямо плыву, точно рыба на нерест.
Чтобы музыке вчуже внимать в переполненной церкви ли,
в зале,
иль сидеть у окна в кабаке в бестолковой компании пьяниц
и, стараясь с тобою не часто встречаться руками, глазами,
сигаретного дыма и шума отраву глотать, и заката багрянец.

Чтоб в полуденный час, весь от солнца сквозной и блаженный,
одуряюще пахнущий сеном и счастьем, и хвоей сухою,
спотыкаясь о ветки, во мху утопая, упасть на колени, –
поклоняясь грибам, удивляясь травинкам, молиться покою.

Чтобы, стиснувши зубы, нестись по залатанным узким дорогам,
чтоб узнать, что откроется там – за подъемом, за лесом,
за краем:
выжать газ до отказа и руль крутануть не туда ненароком –
и с асфальта взлететь за предел – за черту между небом
и раем.

октябрь 1996, Хельсинки

ТРЕВОГА

Андрею Геннадиеву –
на его картину «Тревога»

У порога сторожит тревога –
худая черная собака:
ни прогнать ее, ни потрогать –
станет она лаясь да плакать.

И за дверью притаилась тревога –
худой человек с пищалью:
черно он одет и убого,
а пищаль-то заряжена печалью.

И над домом летает тревога –
ворон худой чернороты:
хрипло кричит он да строго,
а на крыльях-то тяжкие заботы.

И на ветке за окном сидит тревога –
худая, беспокойная сорока:
на хвосте-то черном кручин много –
ни скончанья им нету, ни сроку.

февраль 1997

Рита Бальмина

ЭРОТИЧЕСКИЕ СНЫ
венок-поэма

1

Там, в антикварной тесноте стиха,
Пылища, патина и паутина,
Отжившего жилища требуха,
В рельефной раме старая картина,
Где видим эротический сюжет,
Внеисторическую пастораль.
Хронического ханжества мораль
Стряхнул маэстро с кружевных манжет,
Изобразив пастушку с пастухом
В момент соития в хлеву глухом.
Поставив инвентарную печать,
Потомки продолжают изучать
В классических и эклектичных школах
Любовников по-рубенсовски голых.

2

Любовников, по-рубенсовски голых,
Встречаем на зачитанных страницах,
На плотных полках, полных книг бесполых,
Запретным плодом фолиант хранится.
И переходный возраст по стремянке
Туда стремится, словно в адский сад,

В котором засадил маркиз де Сад
В упругий зад упрямой лесбиянке.
И с языка слюна текла по-щеньи,
И щеки пунцевели от смущенья,
Когда читалась эта чепуха –
И было очень тяжело в ученье:
Плоды влечения и просвещенья
Скрестила ночь внебрачной буквой „ха“.

3

Скрестила ночь внебрачной буквой „ха“
Заглавно-главной в речи нецензурной
Усатых старшеклассников ха-ха
Над матерно-литературной урной,
Чтобы радостно по-жеребячьи ржали.
Крест буквы „ха“ казался центром мира:
Она на стены школьного сортира
Занесена была как на скрижали.
В те дни властитель мыслей был Барков,
А специи заправских остряков
Взрастали на учительских проколах,
Спросите созревающих бесят –
Ведь даже доски классные висят
На непристойно стонущих глаголах.

4

На непристойно стонущих глаголах
Сказуемое просто ум теряло,
А подлежащее держалось на уколах,
И на себя тянуло одеяло.
Но некто Зигмунд Фрейд, еврей из Вены,
Перебежал дорогу фармацевтам,
Советы раздавая без рецептов,
Чтоб подсознанье не вскрывало вены.
Он заявил, что фаллос – ось искусства,
А всякие святые чувства

За ним лишь фоном кажутся херовым.
Историки схватились за перо,
Чтоб эту ось установить хитро
Двуликим словом на холсте суровом.

5

Двуликим словом на холсте суровом
Блистает лак языческой морали,
Язык эзоповым акцентом скован,
Но плагиаторы шедевр украли
И поместили в галереи клеть.
Лети, либидо лебедя над Ледой,
Ведь Рафаэль крадется тайно следом,
Чтоб кистью этот факт запечатлеть.
Плыви, либидо, лебедем плыви.
Истории искусств извергся кратер
На карте черных дыр и белых пятен,
Где грубо вырублены рубаи, –
Всемирную историю любви
Из лунных бликов выковал ваятель.

6

Из лунных бликов выковал ваятель –
Уликами – фонтана струи.
Куда влечешь, целующий приятель,
Меня из „диско“ тесного воруя?
Туда, где прежде высилось весло
Шедевра парковой скульптуры,
Но гипсовые руки дуры
Культурой парка унесло.
Там, на ромашковой кровати,
Изъятые из текста „яти“
В полупризнаниях подруг
Я получу из первых рук,
Когда окаменеют вдруг
Упругие сплетения объятий.

7

Упругие сплетения объятий
Затянутся петлей на горле –
И близкий запах станет неприятен,
А поцелуй затянутый прогорклей.
Утробным оборотнем страсть
Легко дойдет до истощенья –
И превратится в отвращенье,
Чтоб у меня тебя украсть.
И ты уже в романе новом
Сюжетом новым очарован,
Разглядываешь интерьер,
И с интересом нездоровым
Картину в стиле „адюльтер"
За тонким крокеллюровым покровом.

8

За тонким крокеллюровым покровом
Рутинная семейная картина:
Для бытового жанра уворован
Из жизни смысл по милости кретина.
Но дети, дети, Господи прости!
Они-то ведь ни в чем не виноваты –
Шумны, нетерпеливы, грубоваты,
Но им еще расти, расти, расти.
Семья? Картина? Зеркало кривое?
Но не доверить тайны тайникам,
Кладя себя в постель как под конвоем
И молчаливо воя волчьим воем.
Там, в темной перспективе, это двое,
Увы, подобны нашим двойникам.

9

Увы, подобны нашим двойникам
И те, кто на семью утратил право,

Кто, подставляясь сплетням-сквознякам,
Бродячему не изменяет нраву.
Бесись, бесись, порода дворовая,
От хумуса, ХАМАСа и хамсина,
На сучьей свадьбе лай последней псиной,
Урви кусок любви от каравая.
Плешивый, поседевший Дон-Жуан
Все обольщает растолстевших Анн,
Собаку да и зубы съел на этом.
Но цепи рвут, и ранят рикошетом
Бездомные бродячие сюжеты,
Ходившие веками по рукам.

10

Ходившие веками по рукам
Шедевры эротической крамолы,
Доступней, чем костры еретикам
На книжных площадях Савонаролы.
А в книжной лавке очень романтично
Знакомство. Вижу издали: рыбак.
Из бешеного племени собак,
Хотя по виду – человек приличный.
Оставит цифры в блоке записном,
И поцелует во дворе сквозном,
Там, где живу – на юге Флорентина,
До ужина с недорогим вином,
Когда тускнеет город за окном,
Как темная от времени картина.

11

Как темная от времени картина
Предвосхитила бред минувшей ночи,
В котором хрипло стонешь, как скотина,
Рычишь, и на себя похож не очень?
Где отдаюсь тебе, как на съеденье,
С одеждой вместе раздирая кожу –

И рай не нужен, и Господь ничтожен,
Бессильный, словно в день грехопаденья.
О, Господи! За что мне эта кара?!
Там, за окном, светлеет город старый –
Чужая жизнь, чужая Палестина...
А я в объятьях жадного пожара
С налетом прошлогоднего загара.
Светай же, день святого Валентина!

12

Светай же, день святого Валентина!
Чтоб было будничным, рабочим, утро.
По радио звучала каватина,
И на лицо накладывалась пудра.
Все та же улица в парах бензина,
Арабы сонные на остановке,
У манекенов модные обновки
Пылятся за витриной магазина.
Но в клетке мозга певчая строка
Умолкла, охмелевшая слегка
От дозы наслаждения в крови.
Прийди же, День любви, издалека,
Через века, свалившись с потолка –
И тем свое сияние яви!

13

И *ТЕМ* свое сияние яви.
В объятьях скользкой сексуальной темы
Французы бы сказали: се ля ви –
Русскоязычные на эту тему немы,
Иль зычным матом пахнет перевод.
Седой мадам, увы, не показалось:
Сквозь голый текст многоэтажный фаллос
Легко уперся в божий небосвод.
Читательницам в возрасте и выше
Рекомендую возмущаться тише,

Но, уважаемые визави,
Я не прошу прощения у тех,
Кто каждый стих мне засчитал за грех,
Кого смутила видимость любви.

14

Кого смутила видимость любви?
Потомок усмехнется в укоризне:
Его смутила *видимость* любви
Нам ложью сокращающая жизни.
И он придумает такое слово,
Чтобы без терминов от Гиппократа,
Эзоповых иносказаний, мата, –
Развеять тайну акта полового,
Которую и мы постичь хотели...
Затем в букинистическом отделе
Он этим строкам вскроет потроха –
И разглядит тебя в моей постели
С живым загаром на горячем теле –
Там, в антикварной тесноте стиха.

15

Там, в антикварной тесноте стиха,
Любовников по-рубенсовски голых,
Скрестила ночь внебрачной буквой „ха“
На непристойно стонущих глаголах,
Двуликим словом на холсте суровом
Из лунных бликов выковал ваятель,
Упругие сплетения объятий
За тонким крокеллюровым покровом,
Увы, подобны нашим двойникам
Ходившие веками по рукам,
Как темная от времени картина.
Светай же, день святого Валентина
И тем свое сияние яви,
Кого смутила видимость любви!

Микки Вульф

СЕМЬ СОБЛАЗНОВ
Соображения

О ЧЕМ РАЗГОВОР!

Смерть, как правило, болезнь возрастная, поселяется в человеке тишком и - мало-помалу, микроскопическими поначалу дозами наркотика - приучает его к своему присутствию. Услышав первый звонок - не веришь, заметив - не обращаешь внимания, а если уже совсем нельзя не поверить и не обратить, стараешься не придавать значения.

Я учился в первом классе, когда утонул в пруду мой ровесник Леня Котосов. Хотя мы всей второй сменой проводили его на кладбище, эта смерть была, несмотря на ее очевидность, чудовищно недостоверной. Легче было вообразить, что он уехал или перешел в другую школу. Похороны воспринимались как интересная церемония с досадными слезами: ясно было, что умирают - если это вообще случается - старики и старухи, люди нам абсолютно чужие. Все, что с ними происходило, нас не касалось и касаться „по определению" не могло. Не подлежало сомнению, что уж мы-то, при отличном поведении и хороших оценках, скоро доживем до открытия какого-нибудь „антисмертина" и все кончится (то есть продолжится) прекрасно.

(Занятно, что это были мысли поколения, родившегося перед началом войны или в то самое время, когда она, каннибалка, обжиралась мясом и кровью. Но ведь это была *не та* смерть, и коль скоро война кончилась, то нечего было о ней и думать.)

Еще невероятнее казались случавшиеся где-то смерти тех, кто родился после нас. Трудно было поверить, понять уже одно то, что кто-то может быть младше, а уж представить себе, что это маленькое, плачущее, милое перестает существовать... - нет, так же немыслимо, как вообразить мнимое число.

В детстве и юности вообще плохо с конкретным воображением, с чувством времени, с ощущением его темпа. Быть костяшкой на счетах, пузырьком в кипящем чайнике, - как это, если ты - *вся* вода, *вся* волна в мировом океане, только-только начинающая вздыматься? Ты - первое и единственное поколение, и тебе нет дела до тех, кто уже проходит или прошел. Ощущение такое, что идешь в составе огромной армии штурмовать какую-то дальнюю крепость, которой еще и не видно за горизонтом, но которая несомненно будет взята. Сотворение мира происходит сейчас, при тебе, а всемирная история... она, с Моисеем и Магометом, Пушкиным и Мао, вся впереди и - еще успеется. Так ты чувствуешь, а вопрос об адекватности этого чувства, о его соответствии реальности не возникает вообще.

Медленно-медленно горизонт застилают огонь и дым, но ты и твои сверстники еще веселы и беспечны, и только изредка шальная пуля (какой-нибудь скоротечный канцер, нелепый менингит, неумеренная пьянка или дикая драка) вышибает кого-то из тех, кого ты знал и кем, может быть, дорожил.

...А потом, после незнакомых, почти нереальных стариков, прадедов и дедов, вдруг, как-то на твоих глазах, уходят, словно актеры в привычной пьесе, родители, и ты понимаешь, что, независимо от того, любили ли вы друг друга, были близки или нет, они являлись той крышей, тем последним щитом, который обеспечивал тебе чувство бессмертия или, по крайней мере, безопасности, надежности бытия. А теперь - все, ты весь настежь, голый и беззащитный, и чье-то клеймо уже проставило на твоей руке невидимый номер, и никакая перед тобой не крепость, а непрошибаемая, до небес, стена, на которой написано огненными буквами: *«Мене текел упарсин»* („Ты исчислен и взвешен“) - или, если кто лучше понимает по-немецки, „каждому свое“.

Все это - непрерывно длящаяся Катастрофа, с которой нас мирит (или смиряет? утешает? обнадеживает?) только ее не

знающая исключений всеобщность. То есть несколько исключений есть (Енох, Иисус, Будда и другие), но они не вызывают физического доверия или надежды, они как-то незаметно перешли из разряда абсолютно достоверных Красных Шапочек и братцев Иванушек в категорию мифа, в котором много точной символики и высшей правды, но мало прочности камня и однозначности, например, аспирина. Бессмертие было почти бессознательным, непоколебимым убеждением и заливало собой все обозримые дали (даже чтение Экклезиаста не смогло пошатнуть его надолго) - теперь, сменив знак, оно становится высшей наградой (только непонятно, за какие заслуги), почти недостижимой, почти несбыточной. Почти - потому что душой со смертью не согласен никто до самого последнего мига.

Но вот - никуда ведь не деться! - ты свыкаешься со своими трагическими открытиями и бредешь дальше, и обнаруживаешь, что уже не чье-то, а именно твое поколение находится под прямым обстрелом: свист пуль и грохот разрывов стали неотъемлемым звуковым сопровождением твоей жизни, траурные марши - как сера в ушах, а у тебя - ни оружия, ни укрытия, и единственная надежда - на статистику: авось не меня, авось не сегодня...

В последнее время я стал замечать, что справочники пошли совсем никудышные. Наполеон, Ленин, Вильгельм Завоеватель и другая давно подвымершая публика осталась как была: родилась тогда-то, натворила то-то, благополучно свалила тогда-то. А вот с современниками сложнее: даже умерев, они остаются в моих словарях живыми, и чем дальше уходят годы, тем больше призраков заселяют словарь.

Лет двадцать назад я впервые всерьез задумался о некоторой легкой, но невеселой работе, которую надо бы время от времени выполнять, читая газеты и слушая радио: завести, что ли, тетрадочку и вносить в нее даты смерти замечательных современников. Это ведь уходит из памяти, утекает вместе с жизнью, как песок между пальцев.

У каждого свой поминальник. Тенгиз Абуладзе, Алесь Адамович, Рафаэль Альберти, Людвик Ашкенази, Херлуф Бидструп, Олег Борисов, Вилли Брандт, Александр Вертинский, Юрий

Гагарин, Николас Гильен, Лидия Гинзбург, Сальвадор Дали, Моше Даян, Сергей Довлатов, Евгений Евстигнеев, Михаил Зощенко, Эжен Ионеско, Джон Кеннеди, Леонид Коган, Лев Ландау, Лао Шэ, Евгений Леонов, Юрий Лотман, Патрис Лумумба, Александр Любищев, Вирджил Мазилеску, Джульетта Мазина, Мераб Мамардашвили, Томас Манн (и немножко Генрих), Леонид Мартынов, Голда Меир, Андрей Миронов, Ив Монтан, Альдо Моро, Пабло Неруда, Карл Орф, Улоф Пальме, Анатолий Папанов, Борис Пастернак, Эдит Пиаф, Пабло Пикассо, Ростислав Плятт, Сергей Прокофьев, Аркадий Райкин, Фаина Раневская, Нино Рота, Жан-Поль Сартр, Андрей Дмитриевич Сахаров, Витторио де Сика, Симона Синьоре, Иннокентий Смоктуновский, Аркадий Стругацкий, Федерико Феллини, Уильям Фолкнер, Эрнест Хемингуэй, Ци Байши, Чарли Чаплин, Марк Шагал, Дмитрий Шостакович, Клавдия Шульженко, Альберт Эйнштейн, Томас Элиот, Илья Эренбург, Карл Ясперс, ..., ... (еще, слава Богу, живут) - Господи, как я вас всех (и еще десятки неназванных) любил - и особенно за то, что вы живы! Какими неуязвимыми вы казались, как я верил, что вы будете со мной всегда! Как я был счастлив, что живу в одно с вами время, потому что вы его лечили, оправдывали собой. Ваше присутствие подтверждало осмысленность и целесообразность жизни, придавало ей наполненность и очарование, музыкальность и живописность, объемность и плоть.

За вами идут другие, новые, может быть, не менее добрые, умные и талантливые, но беда моя и моего поколения, что мы, даже если бы не были ревнивы, косны и скупы на чувства, уже не успеем полюбить их так же открыто, преданно и бескорыстно, как вас.

И покуда, держа в памяти более далеких, освещенных далью, великолепных, невиданных, знакомых только по книгам, понаслышке, по картинам в музеях, я перечисляю ушедших уже при мне, при моей жизни, - вы, другие, которые живы и которых я, чтобы не сглазить, называть не хочу, вы продолжаете уходить, оставляете нас сиротами наедине с этой проклятой стеной, за которую, я уверен, вы не перешли, а взмыли вверх по вертикали, и воздух без вас редеет, блекнет, дырявится, становится просто

пустотой, непригодной для радости, невыносимой для дыхания и, стало быть, для любви.

Любить становится как бы некого.

Что ж, думаю я себе, если даже вы не пощажены, наверное, нет ничего страшного в том, что и я уйду вслед за вами (хотя ради многих из вас я бы не счел за обиду дать дуба и раньше). Это, конечно, будет довольно чувствительная неприятность для тех немногих, кому я близок, но все, я не сомневаюсь, переживется, перетрется, перемелется более насущными заботами.

Ошибка, видимо, в том, что, движимые отвращением к смерти вообще и к своей особенно, мы относим ее в своем сознании к потусторонним, метафизическим, так сказать, явлениям, о которых можно и посудачить, с которыми можно издали пофамильярничать, но которые к нам касательства не имеют. А между тем она тут, рядом с нами, может быть, в соседней комнате или за углом.

И это вселяет надежду. Потому что, допустим, с вечностью, есть она или нет, ничего поделать нельзя. А смерть - это то, что можно рассматривать, изучать, трогать руками (брр!), с чем можно бороться, против чего можно - ведь можно же, никто не доказал, что нельзя! - что-то придумать. А что до сих пор ничего не придумали и еще, скажем, двадцать веков не придумают - так это не довод. В конце концов, сознающее себя человечество очень, очень молодо: ну пять, ну десять тысяч лет - максимум четыреста поколений. О чем разговор!

ПЛАН ПОЭМЫ

Не знаю, как вы, а я плохо понимаю природу.

Рассвет в горах, закат на море, муравьи на кухонном столе, прильнувшая к абажуру керосиновой лампы ночница-монахиня с бархатными, выдающими ее женскую сущность крыльями рясы; кошка, завернутая в дырявое полотенце, с дурными, вишневыми, дикими после купанья глазами; залитая кровью собака, мучительно медленно хромающая по улице в попытке уйти от настигающего живодера; летящий ей вдогонку и, кажется, сам

заворачивающий за угол лом - вот почти вся живая природа, которую дал мне увидеть Бог за полвека не самой изломанной жизни.

Еще помню лесную дорогу на Брянщине, под Новозыбковом, бледно-зеленые, как в паутине, лопухи и ярко-зеленые подорожники в пузырьках росы, на которую уже легла беспорядочными компасными стрелками пыль; взлет развернувшего хохолок удода, мгновенный и нежный, как воздушный поцелуй; прогрохотавшую по облесью телегу; холодные, холоднее смерти, мотоциклетные очки стрекозы, а остальное - ультрамариновое секционное брюхо... Боже ты мой, добрые русские люди так и говорили: вы, евреи, не понимаете природу; как завелись со своим Богом, так и обрубили с ней всякие концы; неорганичный вы народ, городской, местечковый; Вечный Жид потерял вместе с правом смерти право родства с полем и лесом, и вы теперь калеки, да, калеки.

Все это правильно. А коммунизм, заменявший пылким евреям русскую водку, нас оттеснил от органики еще дальше, хотя, конечно, пчелофил Халифман (арабская, медовая, расписная фамилия!) или занимательный физик Перельман, Спиноза там, камневед Ферсман, святой выпивоха З., тель-авивский Кола Брюньон, бывший геолог, весь в попугаях и рыбках гуппи...

Совесть России, светильник разума, автор волшебной „Царь-рыбы" Виктор Астафьев додумался в интервью „Вечерней Москве": „Сердобольный наш Президент... порку ввести забыл. А надо бы. Чтоб каждое утро перед парадными дверьми Красноярского, допустим, административного здания, под любимый советским народом „Марш энтузиастов", на центральной площади возле памятника Ленину, на удобном его постаменте бабы пороли бы мужиков... А мужики бы пороли баб... и, уверяю вас, сразу порядок восторжествует".

Зубы - зеркало их души, вот что я вам скажу.

Тут поэма должна, по замыслу, освободиться от ностальгии, выплеснув свободной волной на необъятные просторы Израиля - на лунные пейзажи Мицпе-Рамона и тихоструйную, в туманах парящую Галилею с ручным зеркальцем Кинерета, забытым между козьих грудей страны, на пьянящие водопады в истоках

Иордана и алые от маков мандариновые *пардесы,* на притаившуюся Иудейскую пустыню, дышащую разбоем, елеем и солью близкого Мертвого моря, - о, как она встает на дыбы, чтобы поднять на своем гребне мумию Масады с притянутым к ее сердцу электродом фуникулера...

А закончить эту штуку надо простенько, бесхитростно. Что-нибудь совсем банальное: любовь среди кактусов, убегающий скорпион, прерывистое дыхание, след - ну еще бы! - самолета в небе, одинокая пустая купальня внизу, брошенная на мелкой волне газета, зной, тишина, зной.

СЕМЬ СОБЛАЗНОВ

Первый соблазн - думать о вещах просто, считать мир понятным или по крайней мере открытым для понимания, смешивать мысль и житейский опыт и подбирать объяснения тому, что не желает быть объясненным. Поддаться такому соблазну - значит упростить Вселенную до самого себя. Ей, пожалуй, почти все равно, кто ее как толкует и под какую мерку, но тебе - чуть ближе к смерти - становится неловко. Неслыханная, как ересь, простота - даже не остроумно, не говоря уже о том, что это неправда, а если правда, то лишь такая, чтобы ею забивать гвозди своего гроба. Толкователи не исчерпывают Шекспира, Хемингуэя нельзя представить себе на цветном экране, Роберт Бернс хорош, пока не отходит от рогов плуга.

Второй соблазн - думать о вещах сложно (если умеешь и расположен), приписывать им вместо нормальных физических или чувственных отношений рефлексии собственного мозга, заведомо более примитивного, чем загадка его устройства или даже крыло стрекозы. Чтобы далеко не ходить за примерами: мы не имеем внятного представления о таких распространеных, повседневно окружающих нас понятиях, как жизнь и смерть, душа и свобода, время, будущее и прошлое. Правда, мы почти безошибочно определяем их отсутствие, но это не значит, что мы их понимаем. Нам неизвестно, из чего состоит ядро Земли, а если даже мы завтра узнаем это, наши гордость и радость

будут краткими и пустыми. Нам лишь кажется, что знать это важно. Подспудно мы чувствуем, что важно было бы выяснить нечто совсем другое. Но что?

Сложность мира превышает возможности нашего умозрения. Поэтому он смеется, когда мы становимся на цыпочки и морочим головы друг другу. Поэты ближе всех к большой тайне, но ее ворота охраняет безумие, стражник слишком надежный. И потом, среди них много шарлатанов. Едва ли не больше, чем среди попов, раввинов, сектантов и экстрасенсов.

Третий соблазн, самый притягательный, самый распространенный и легко исполнимый, - не думать вовсе. Он тем легче нас заражает, что мысль требует сосредоточенности, честности, навыков и мастерства. Мало кто вызывает у нас такое сочувствие, как слепой Полифем, считающий у входа в пещеру своих овец и громко сетующий на негодяя по имени Никто, который лишил его последнего глаза. Между тем все перечисленные качества в высшей степени свойственны Одиссею, вцепившемуся снизу в руно любимого Полифемова барана и трепетно ждущему воли и света. Одиссей сделал что мог. Риск огромен. А за циклопа можно не волноваться: он и есть наконец, то, чем призван быть, - слепое никто.

Четвертый соблазн - думать готовыми блоками. По совести говоря, это не мышление, а его имитация, и тут не следовало бы о ней упоминать, если бы не массовость такого эрзаца, особенно среди людей с дипломами, среди учителей, библиотекарей и журналистов, и особенно среди тех, кто любит порассуждать о политике, которая столь же далека от истинной философии, как почтенное землемерие от геометрической мистики Пифагора. Чеховских Ипполитов Ипполитовичей, всерьез считающих себя интеллигентами, поскольку Волга действительно впадает в Каспийское море, а лошади, бесспорно, кушают овес, - гораздо больше, чем может показаться при беглом взгляде на человечество.

Тут винить и тем более презирать никого не надо. Нет ничего банальней Десяти заповедей, тривиальнее моря и солнца, расхожей пословиц и поговорок, пошлее страдания и смерти. Маленькая ошибка состоит в том, что мышление ставят в тот же

ряд и позволяют себе обращаться с ним так же, как с моралью, с природой или с болью, которые почти не подвержены пошлости и ничего не теряют от повторения. Едва ли не все мы грешим к и р п и ч и к а м и, тем более что так легче общаться с себе подобными, но хотя бы наедине с собой стоит отличать одно от другого.

Пятый соблазн - думать только о том, что близко, только о том, что связано с отбыванием жизни, своей и родных. Это соблазн понятный и для большинства простительный. К телу действительно ближе своя рубашка, и сидя, например, в Дании, трудно качественно думать о проблемах австралийцев и о том, какая скотина Ширак, позволяющий себе с пренебрежением к антиподам испытывать в тамошних водах французские атомные устройства. Обратно пропорциональная зависимость уровня мысли от расстояния до объекта, если присмотреться, сильно дискредитирует людскую ветвь отряда приматов. Но, если на то пошло, неужели только искусство свидетельствует о нашем, в конце концов, братстве, когда Гамлет или мыльная опера, или героини „Техаса" вышибают у нас слезу сладостного сочувствия? Или потому оно и сладостно, что не требует приложения к практике? Слаб человек, узок, немасштабен, склонен к самоизоляции - все правда. Но хоть думать, если уж не действовать, он мог бы и получше, верно?

Шестой соблазн - не думать о неприятном, не связывать мысль и дело. Мистеру Пиквику хорошо, но и нам не хуже, потому что между первой и вторым мельтешат, почти никогда не прерываясь, действительно необходимые „дела" - то, что называется жизнеобеспечением (то есть материальным покрытием пищи, секса, культпоходов к телевизору, общественных проявлений и пр.). Вопрос, насколько они необходимы, это уже этика и/или философия. Но ответ прост: зачастую ровно настолько, чтобы помешать естественной связи между работой головы и работой сердца и рук. Дурак, который на вопрос, зачем ему голова, ответил: „Я в нее ем", - был хотя бы откровенен. От души смеясь над ним, не чувствуем ли мы постыдного дребезжания голосовых связок?

Седьмой соблазн - полагать, что их всего семь или даже

меньше. Их много больше и, шарахаясь от одного, невольно влетаешь в объятья другого. Ничего не попишешь: живем среди призраков. „Милый призрак“ - у кого это сказано и как сказано хорошо!..

ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН

Когда в 78-м году меня приняли в Союз советских писателей, я решил, что моему старику будет лестно узнать об этом, и вне графика его навестил. Новость он выслушал с видимым безразличием, но попросил пройтиться с ним в парикмахерскую и, обгладив ладонями перед лысым зеркалом свои обглоданные виски, сказал мастеру:

- Видал, Хаим? Моего сына взяли в Союз Михаила Архангела!

Хаим отозвался мгновенно:

- О! Там-таки богатый буфет!

Я был у отца единственный и более чем поздний ребенок - хотя, конечно, не до такой степени, как у Авраама Исаак, или, прости Господи, Адам у Всевышнего.

Теперь, в подворотне XXI века, перед вафельными его решетками, Урания, муза арифметики, мне подсказывает: если я ненароком не сдохну раньше, может случиться, что наши с отцом две жизни - беспримерно долгая его и в перебор затянутая моя - захватят концами, словно лодочники крюками багров, три бескрайних столетия.

Чтобы это наглядней себе представить, можно произнести вслух - и послушать, как замирают в тополином воздухе - бом! бомм! боммм! - три названия: Тальное (местечко под Уманью, где он родился старшим из шестерых в 1888 году); Красный Строитель (подмосковная платформа, где зимой, в начале восьмидесятых, меня мучительно, до судорог, пронесло от ливерных пирожков Желдорпита); третье вы, как железку с морозной земли, подберете сами, со мной простившись.

„Жили люди“, - скажете вы.

Моего отца в детстве звали Марочкой.

В царской армии, в 1908-м, он служил вольнопером, окончил

Казанский и Киевский как юрист и историк. В 18-м - тридцатилетний! - он стал, по его словам, заместителем продкомиссара Украины, имея прадедом по матери главного ашкеназского раввина ишува, личную, как новый русский, охрану, персональный вагон с паровозом и видая своего начальника Льва Давидыча Т. вот как вы сейчас видите меня.

Мазки, что поделать, ложатся на незагрунтованный холст мясистые, крупные, сплошь - в духе эпохи - золото, сурик и охра, но дальше начинается форменный сумасшедший дом, и открытость абсурду заставляет меня доверчиво ловить каждое отцовское слово.

Трескучей зимой, на глухой приднестровской станции, этот беспартийный большевизан раскапывает в зловонном скопище беженцев свой университетский „предмет" - красавицу Неточку Вайнберг. Без колебаний бросив паровоз и охрану, он, кажется, с глубоким вздохом облегчения предает пролетариат, нежно перехватывает портупеей нерпичью шубку на Неточке, и оба рвут когти - по льду! - в сторону боярской Румынии.

Преуспевающий адвокат, совладелец прибыльно-сладостных - мускат гамбургский и шасла отборная - виноградников с шастающими в шпалерах лисенятами, неугомонный трахальщик местных смуглянок на зубчатых, разлапистых, золотеющих листьях, равно пригодных для голубцов и голубок, он спустя двадцать лет провожает, задыхаясь от слез и махая душистым платочком, удаляющуюся через Стикс-38 ладью с переходящим в тень телом Неточки; затем, отскорбев, женится снова и с новой семьей врюхивается рылом в умело расставленные грабли пришедшей по их души совецкой власти.

Как и зачем он, лишившись всего, остался жив и свободен - его секрет. Эвакуация, директорство в узбекской школе с параллельным преподаванием французско-немецкого; идиш по вечерам с моей исхудавшей бабушкой, до крайности тугоухой, но великолепно читающей по губам; возвращение в сорок четвертом - уж это я видел своими глазами и смутно помню собственной памятью: лунной ночью расхристанная каруца втащила нас мимо леса и сада в душный, с отсвечивающими развалинами, город. Поселились мы на разбитой Армянской улице

рядом с уцелевшим Армянским кладбищем. Там он набрал кирпичных обломков и сложил под небом просторное, с печным подогревом, греко-римское ложе.

В 48-м он краем уха узнал, что его стаслишнимлетняя мать жива в Палестине, и рискнул переслать ей записку: „Мама, твой Марочка жив".

Записка попала куда следует, и дело моментально обернулось изгнанием со всех его трех работ, скоропостижным разводом и отъездом по переводу в глухую губернию Средней России. Это спасло его тело и погубило душу. Стукнуло шестьдесят. Авантюры кончились уже навсегда, и начался одинокий путь к умиранию длиной в тридцать два года. То был благополучнейший вариант: свобода, холостяцкая комнатушка в бревенчатом доме с блядующими напропалую соседями, тут же аркадская, в две грядки, капуста, как у Цинцинната, и яблоня, контора с девяти до шести, по субботам баня; до конца носимая и „все как новая" шевьотовая тройка на шелковой подкладке с британским, а именно манчестерским, пластрепетом, старческие поллюции, боязливый политцинизм, скупость на малейшие траты, неизменно позволявшая выручать меня из бесчисленных провалов, томительные мозоли на скрюченных пальцах ног, распариваемые в ромашке.

Много лет он пользовался для готовки хирургическим ножом - подарком киевского брата-уролога. Пережил он всех. Меня поразило, что, просто приставленный лезвием к яблоку, этот нож одним своим весом молниеносно и беззвучно разваливал его надвое. Капустный вилок ждала та же участь.

За несколько дней до смерти у отца появились трудности с малым делом. Поехали в больницу на прочистку. Его усадили в подвальном коридоре, велели ждать. Надрывно плакал младенец. Идиот с неправдоподобно толстым лицом, куняя, пялился на свой большой палец и делал пилящие движения рукой.

- Слышишь? - сказал вдруг отец, сидевший понурясь, но вдруг встрепенувшись.

Идиот замер.

- Что? - насторожился и я.

- Поют.

Я пожал плечами.

- Ну как же, - раздраженно заметил отец. - Поют. Тихо, но слышно.

Теперь замолк и младенец.

- Нет, - возразил я. - Это у тебя в ушах шумит от давления.

Он взглянул на меня с комиссарским бешенством:

- Ах да, ведь ты же глухой, весь в бабку!

Моя жена, ничуть не удивившись, мне объяснила потом, что он действительно слышал хор ангелов - так бывает перед уходом.

Умер он, как говорят мы, евреи, смертью поцелуя, чего и вам желаю - кого люблю. Спустился с третьего этажа погреться на осеннем солнышке, сел на лавочку у подъезда, раскрыл газету „Правда“ и упал замертво.

Это сделалось к закату пятого ноября. Я пробыл с ним до утра шестого, копаясь в немногих бумагах и косясь на поскрипывавшую койку. С погребением возникли праздничные проблемы. Старухи-соседки помогли вынести гроб по узкой лестнице, ставя его при поворотах на попа. Погода испортилась, ударил мороз, уши у меня зябли - на третьем пролете я уронил в гроб свой берет. Копальщики-молдаване пили в усмерть по случаю осеннего взятия Зимнего. Ангелов я так и не слышал и всему этому собранию несообразностей значения не придаю.

ПУЗЫРИ ЗЕМЛИ

Уже не помню, кого из классиков или современников потряс божественной дрожью этот образ в таинственном „Макбете“; здесь важно то, что он и впрямь пережил уже притоптанные временем жемчужно-мусорные свалки барочных метафор и становится все ближе и ближе к захлебывающемуся человеческому духу на рубеже буднично умирающего тысячелетия.

Завещание патриарха Иакова, благословившего нас, его потомков, благословениями небесными свыше и благословениями бездны, лежащей долу, оказалось - теперь об этом, по прошествии нескольких десятков веков, можно говорить с печальной уверенностью - мучительно асимметричным, решительно нерав-

новесным, о чем свидетельствует простое сопоставление двух сумм накопленных на протяжении истории представлений. То, что придумано, воображено людьми о небе, ни количественно, ни качественно не идет ни в какое сравнение с тем, что почти достоверно узнано ими о сферах подножья, подсердья и подсознания. Всевозможные подземные и подводные народцы, разнообразные пещерные твари, несметные полчища лежащих под самой почвой „отцов" (как точно назвал их глубоко мне противный философ Федоров), мириады ископаемых (?) рыб и неизвестных даже докучной науке животных (не говоря уж о специализированных крысах-мутантах в городских системах канализации и на ядерных атоллах Океании), - весь этот малоподвижный вроде бы мир представлен в нашем культурохранилище гораздо богаче и ярче, нежели „пустые небеса" (Пушкин), населенные Богом и богами, о которых думано и сказано неимоверно много, но не наглядно, - и анемично бледными легионами ангелов, *малэхамовесов,* индонавтов, иных непредставимых небесных сил... Рискуя сказать давно известное, замечу, что разница в наших представлениях (или в том, что мы считаем таковыми) об этих двух мирах, нижнем и верхнем, точно такая же, как разница в наличных сведениях о прошлом и будущем, хотя, если на то пошло, наши знания о прошлом простираются не дальше тени в солнечный полдень. Если продолжить это сравнение, то беда в том, что у тени нет противоположного ей физического аналога: мы, за редкими исключениями, не отбрасываем на землю светлой проекции, что нас, выражаясь по-мещански, не красит.

Вся эта асимметрия оставалась бы личной проблемой каждого, если бы в последнее время (века, десятилетия, часы) нижний мир не начал интенсивно прирастать каким-то полуматериальным образом - я говорю о пузырях земли, о пустотах, не имеющих содержания, но обладающих объемом, о, так сказать, призраках, совершенно полых внутри, но четко ограниченных по контуру (меня хорошо поймут спелеологи, слоняющие слоны по пещерам, кавернам и гротам). Причем динамика этого подножного мира как-то уж очень жестко, но непонятно, не полностью соответствуя ни логике нашей этики, ни морали нашего

мышления, соотносится с событиями, происходящими на земле - на этой ломкой и хрусткой, что доказывают землетрясения, корочке плохо пропеченного пирога, именуемой земной биосферой. Впору допустить, что не только размещенные в ней живые тела и предметы получают с некоторых пор там, внизу, равнообъемные мобильные отражения, но и поступки, движения и жесты этих тел и предметов словно воспроизводятся там через кальку, производя болезненные сотрясения в земных пластах вплоть до чудовищных тектонических подвижек. В переводе на простой поповский язык это означает, что состояние нравственности определенным, но математически не просчитанным образом влияет на состояние природы, хотя, к несчастью, до сих пор мы располагаем примерами исключительно негативного свойства (Содом, Кракатау, Спитак, Муруроа и пр.). А было бы любопытно, замечу в скобках, понаблюдать реакцию царства Аида на гипотетический расцвет благостыни в людских сердцах: возможно, она проявилась бы в открытии новых водных источников среди пустынь, в автоматическом осушении болот (что лишило бы дерзкой славы, например, первопроходцев Колхиды и халуцим Палестины), в самооборудовании цветных душистых фонтанов на скучающих городских свалках и массовом выбросе модернизированных самобранок с шашлыками и тенистыми *алонами*.

Увы, ничего подобного, кроме дождей из лягушек, в нашей атмосфере не наблюдается, да и вообще не о том разговор. Более всего, сказать по правде, тревожит меня кажущееся неизбежным развитие событий, при котором уже не нравственность будет влиять на природу, а наоборот, истерзанная, бунтующая природа - на смирившуюся нравственность. Я боюсь, но вынужден представить себе безвозвратно-поступательно развивающуюся ситуацию, когда размножившимся пустым уродцам (пузырям земли, по нашей терминологии) станет под землей слишком тесно и, прорываясь наружу, они начнут лопаться, вследствие перепадов давления, с безобразным прыском и пуканьем, разбрызгивая капли расплавленной магмы и растекаясь омерзительно-непристойными потеками по прекрасным памятникам человеческой архитектуры, зиккуратам шумеров и

инков, по развалинам Стоунхенджа и обсерватории Улугбека, по величественной тени Вавилонской башни и безвременно павшему Фаросскому маяку...

И если бы только это! Множество их бродит средь нас, не лопнув. Их становится все больше, они, по слову Божию, плодятся и размножаются. Я убежден, что пьяные, популисты и полупаралитики шатаются не из-за нехватки внутреннего равновесия, а вследствие дефицита равновесия внешнего, подталкиваемые под бока или в спину незримо толпящимися вокруг пузырями земли. Я вынужден предположить, что обуревающие меня иногда приступы смеха или томительные уколы сострадания объясняются не собственной моей конституцией, а все теми же пробравшимися в кровеносную систему пузырьками, действующими по-разному в зависимости от расположения планет, направления ветров и времени суток. Я боюсь за судьбу моей матери, моей жены и детей, за судьбу моего друга и моих злосчастных врагов: кто знает, что еще придет на ум кошмарным пустоголовым пустотам, вышмыгивающим из подполья наружу, как стая огненных кошек из занявшегося амбара, когда в небе светит бетонным светом перекосившаяся луна и стаи ворон в лесополосах обмирают со страха на колеблющихся ветвях.

АЛЬТЕ ЗАХЕН

Если не раздражаться извинительной выспренностью слога, почтенный поэт был прав: как собутыльника на сабантуй, призвали меня всеблагие. И что же - каких таких был я зритель высоких зрелищ, бряцалищ и игрищ, стойбищ, седалищ, ристалищ и хрящиков? О, многих! Чаплин и Хрущ. Текстильщики и Подольск. Леда и лебедь. Осташков, Ромашков. Ленин и Сталин. Европа и бык. Соловей и роза. Мерзость и запустение. Кариес и пародонтоз. Экспансия горлиц и одуванчиков. Теплые, нежные, мятные, точно ртутью в колбу, плотью налитые плечи училки математики из Уренгоя. Перерассчитала, не дала - вот и запомнилась. В этом они были правы, советские целки.

Но когда ведешь глазом по газетному списку убитых в прош-

лом и нынешнем веке премьеров и президентов, королей и принцесс, нельзя не задуматься о прогрессирующей амнезии истории и индивида, и об отсутствии видимых мотивов преступления. Убийство как олимпийский вид спорта. Естественная кончина в бозе как выигрыш в лотерее. Эскалация безликости. Смерть вразбитную, веером - напоминающая взятое наперевес родословное древо - от единичного Сади Карно, шикарно взлетевшего на воздух салютом XX столетию, до трех миллионов камбоджийцев, буднично забитых мотыгами, и орд несчитанных курдов, травимых газом, как тараканы.

Курды решают все.

В еще старой, постполевой, уже dementiевской „Юности" появился, помню, пустяшный стишок про коня и джигита, с забавной, в две строчки, подписью:

„Перевод с курдского
Александра Бродского".

Свидетельствую как очевидец: чтобы избегнуть нежелательной рифмы, совсем уж собрались написать „перевод с курди", тоже смешно, но джигит - полусоветский-полукавказский, имел паспорт и две квартиры в Москве и Сухуми - стал хвататься за газыри. Жалкий переводчишка (он тоже печатался там впервые) заупрямился по-еврейски: закатил истерику и диоптрии затуманил. Махнули рукой и оставили как было. Поэт потом всем пропойцам в чебуречной на Бабушкинской демонстрировал затертый журнальчик и, азартно таращась, горланил:

- Прэдставлаэш, тры мыллыон экзэмплар!

Каждому камбоджийцу на могилу.

Разрыв между тиражом и гонораром доконал его, и он спился.

Равноценно-бесценно лишь то, что не имеет цены, что помнится сердцем, что нельзя унести дальше жизни: „Данаю", золотой дождь, кучевое облако в оторочке небесных огней. Отвагу, моцартианство, лошадиный глаз, его бездонное каменноугольное мерцание. Капли брызнувшей крови - с листа на лист. Суховейный шелест кукурузы ветреной ночью. Каменные цветы на негнущихся арматурных ножках в продрогшем таллинском Кадриорге. Слово „Кадриорг". Звуки и буквы. Молекулы и

атомы. Эоны любви - простите, что так выходит красивенько.

Глагол или своевременно ввернутый суффикс, конечно, хороши, но существительные - память, краса и гордость любого уважающего себя хозяйства. Они подтверждают нам, что я был и есть, выдают об этом достоверную справку без даты. Иск, мениск, обелиск - век увенчан обратным словарем, все подряд рифмующим без запинки. А вербальность любому списку придается самим принципом его составления. Дурачье смеялось над пророческими, через скромную запятую на запятках строк, каталогами Фета: „зеркало в зеркало, с трепетным лепетом" и проч., а мне в их удвоенном янтарном свете очень понятна страсть суперреального Башмачкина к домашнему перетараканиванию бумаг, к перечням, реестрам, синодикам, каталогам, табелям, инвентариям, описям.

Ангелы и бесы беспамятны и писать не годны. Наверное, поэтому они рисуют, пляшут, гадят, гадают на картах. Ни то, ни другое, ни четвертое мне не дано.

Впрочем, еще бабушка надвое. Хотелось бы выяснить свои возможности до того, как я их лишусь. Беда в том, что они умирают раньше, чем мы. Может, я альтист-виртуоз и стóит, пока не поздно, на скорую руку наканифолить смычок. Может, я зря презираю программистов - не запрограммировать ли что-либо рыбное с вариациями по шкале Рихтера? Мне ведь не только досконально неведомо, чтó я умею, - я представления не имею о том, чего не смогу ни за какие коврижки. Ах, если бы Бог не ленился подсказывать детям и если бы дети умели, ах, слышать его подсказки! Случайные воспоминания - как найденная в старых брюках дореформенная пятнашка: позвонить разве по автомату, да некому.

И автоматов тех нет.

В Талмуде рассказывается, что гомункулус, зародыш в утробе, видит все, что ни есть, до конца Вселенной, знает, помнит и понимает все, что было и будет, и пребывает, хочется ему верить, в вечном просветлении и блаженстве. Но приходит время рождаться, как потом - умирать, и не успевает он, в крови, нечистотах и слизи, явиться в мир, его уж поджидает, присев - как цепкая стрекоза на камыш - на мятущееся колено родильницы, специ-

ально посланный ангел - и ударяет перстом по устам. И человек теряет дар речи, забывает что помнил, и взор его становится мутным, а над верхней губой остается впадинка (кто не верит - взгляните в зеркало).

И, сказать по правде, неохота увеличивать энтропию. Гармония устарела, как фисгармония. Вместо совести - нервы, вместо страсти - гормоны и адреналин, вместо мысли - идеология, статистика бесконечно малых, и сердчишко начинает пошаливать. Не все, что помнишь, хочется выразить, хотя стыда уже нет, не все, что умеешь, стоит исполнить.

Так чего же вы от меня хотите, вещи и страсти? Почему я под старость лет до того мучаюсь от невысказанности, что хоть возьми и перепиши - с наклоном и нажимом - политехнический лексикон? А я уже так привык к молчанию, так полюбил его.

Литература - то, что надо стряхнуть.

Размышлять интересно, но жить противно.

Трахаться полезно, но спать тесно.

Подробности невыносимы.

ПТИЦЫ И ЛЮДИ

- Как же вы живете? - спрашивают их.

- Когда кончается рабочий день, мы - так мы условились - категорически закрываем эту тему, запрещаем себе говорить и думать об этом. О чем угодно другом - сколько хотите. У всех есть семьи, мужья, дети. Об этом - ни за какие коврижки...

Правильно. Особенно ночью. Особенно вечером. Темнота падает быстро. Свет становится нитевидным, истончаясь до паутины. Становится слышнее свист и шурх машин на шоссе. Громкий монотонный разговор доносится не из соседней комнаты - из-за холма. Оказывается - море. Под деревьями бродят многоязычные тени. В лекционных комнатах поскрипывают мелки. Зайдешь - никого. Понимаешь: все замерли при виде живого. Только чей-то смешок (лет 12? 15?) мышкой пробегает между партой и шкафом, где сложены карты на немецком языке.

Когда становится совсем темно, они перестают тебя стеснять-

ся. Но если хочешь расслышать их лучше, вдвоем-втроем ходить не надо: можно попасть в ногу, и тогда вас примут за патруль и надолго затихнут. Если не умеешь летать по воздуху, ходи один, можешь насвистывать „Лили Марлен“ или „Донну Клару“. И шепоты станут отчетливей и смелее.

В нижнем зале - сумей только проскользнуть - освещенный фонарями прямоугольник лагеря. Собственно, макет. Его сделал своими руками плотник из одного угла, вечный „бывший“, которого пригласили свидетелем на процесс Эйхмана. По этому макету он водил длинной указкой, показывая: это вот было вот так, а это вот так вот. Нет, сюда их не пускали. Нет, не били. Наоборот. Подхватывали вещи, стариков брали под руки на сходнях. Да, стригли, всех наголо. Они понимали: ничего страшного - волосы отрастут. Да, приходилось раздеваться, донага, всем при всех. Но обещали дать рабочую робу. Нет, с волосами ничего не вышло. Ими пытались набивать тюфяки для военных моряков, но у тех появились нарушения сна. Поэтому и осталось столько неиспользованных волос. Нет, насчет мыла тоже легенды. Что-то не заладилось с процентом жирности. Немецкое значит отличное. Еврейское значит ужасное. Поэтому их приходилось сжигать. Окрестные крестьяне не выносили запаха и уезжали, бросая дома и продавая скот. От евреев одни неприятности. Даже после смерти.

Но здесь-то они у себя дома. Хочешь - чинно гуляй под чинарами, хочешь - иди в зал. В зале показывают кино про то, как фрицы снимали кино. Ха-ха. Его все время снимали снизу, чтобы он казался более высоким. Сегодня это трудно вообразить, но он был секс-символом. И то, что строил для него Шпеер, - палацы и стадионы, вокзалы и термы, - все это были дома свиданий, куда он водил свою нацию и где употреблял ее в хвост и в гриву. Не без излишеств и завитушек.

Тем более поражает целесообразная простота фабрик смерти. Дорога в газовые камеры между двумя рядами колючей проволоки уже ничей глаз не радовала и обмануть не могла. Жестянку из-под „Циклона-Б“ можно потрогать хоть сегодня, она совсем простая, круглая, ничем не пахнет. Голый человек по дороге к этой жестянке уже не мог принести вред рейху,

разве что плюнуть в морду охраннику. Тогда пускали собак, и собаки ему отрывали яйца. Такое кино.

Еще показывают, как работало ведомство пропаганды: надо было объяснить немцам, что евреи и на людей-то не похожи. У Геббельса ишачили крепкие профи: монтаж, ракурс, освещение. Да и сами по себе эти евреи были достаточно смешны. Реквизит, бороды, пейсы, все эти фигли-мигли. Но бывших советских впечатлить трудно: они и не такое видывали, и не такое сымали. Все-таки душно - на воздух.

Ночь, как говорится, нежна. Вот парочка: „Куда ведешь? Я дальше не пойду". Проталкиваясь между призраками, не бойся подхватить вшей. Заразна только смерть, всегда преждевременная. В Музей Ребенка заходить не стоит - уйдешь винтом под землю и не выйдешь. Черная темнота кажется серой, потому что тени еще черней.

Белой тенью проскальзывает в море сторожевик, поигрывая прожектором. За спиной - немыслимая Галилея в белых одеждах. Израиль-95 - последний такой за двадцать веков и, может быть, еще на столько же. Говорят, до сих пор живы люди, видевшие своими глазами восстание в Варшавском гетто, Анилевича, Корчака - все равно как если бы они видели Бар-Кохбу и рабби Акиву.

Теперь я не знаю, как перейти к утру, и так каждую ночь, но оно, тем не менее, наступает. Стуча зубами, выскальзываешь со свежих простыней из-под теплого одеяла, хватаешь сигарету - мир в росе. Привратник из-за стекла бдительно приподнимается: куда тебя несут бесы? Отмахнись поприветливей, он снова задремлет, а ты беги к башне Музея Ребенка, запахнись поплотнее в собственные руки - вон море проступает куском синего льда, бросающим на бледное небо темную тень, вон опять Галилея - массивной неровной челюстью - вся в розовой пене набегающего рассвета, солнце выглянуло малиновым влажным артиком, снова машины - ш-ш-ш да ш-ш-ш, перелесок звенит тишиной, пальмы резные, все кажется слишком искусственным после пережитых недавно, душных, как еврейская лачуга, часов.

Но чье-то плавное движение наискось пересекает зрачок, и

ты поднимаешь глаза - утки, дикие утки идут, держа курс прямо на твою башню, на лету перестраиваясь из шеренги в колонну, из колонны в клин. Свиньей летят. Махни им рукой - они не шарахнутся, не боятся, не замечают тебя, огибая, как материальный предмет, невидимый тебе воздушный контур. Настречу им - серые цапли, удивительно похорошевшие в воздухе, и только растопыренные пясти на концах струнных ножек торчат смешно, как на детских рисунках. Молчите! Все помню и знаю! А эти кто? Головы с клювами кажутся больше туловищ, они важно откинуты назад и лежат на изгибах собственных шей, а вся стая вместе похожа на эскадрилью неведомых аэропланов. О господи, пеликаны!.. Ну, само собой, чайки. А эти, ну, знаем, Гамзатов, Гребнев, Бернес, и промежуток малый все-таки не для меня в том строю, но красивы, красивы, не чета самому Ганзапу. Тоже седые.

Значит, имейте в виду, это только на рассвете и только в это время года, и где-то минут сорок. Пока я сбегал за фотографом, пока он, пробудясь, причапал на башню, небо опустело до полной атеистической будничности. Голубое и голубое, извините за выражение. Но я это видел своими глазами: в полном беззвучии сотни и тысячи птиц - во всяком случае, их было достаточно для прозрения - разминались, одев дырявой сетью видимое пространство до девятых небес. В полном беззвучии, это надо запомнить. Те, что повыше, были похожи на самолетики, те, что еще выше, - на крестики, на шипы колючей проволоки, а те, что ниже, были теплыми и живыми, были тем, что они есть, - вовеки загадкой и тайной. Они, наверно, роняли помет и перья, они поднимались, я это тоже видел, с окружных озер и прудов, и только тишина, царившая вокруг, подтверждала мою о них пронзительную догадку, и не с кем было поделиться ею, и это было правильно, хотя и печально.

Киббуц «Бейт лохамей а-гетаот», Музей бойцов гетто

ОКНА

Дом, в котором я живу на съемной квартире, находится в самом центре Тель-Авива, на перекрестке сразу пяти шумных улиц. Этаж, по нашему привычному счету, пятый, последний, а по-здешнему, по-израильски и по-европейски, четвертый. Так или иначе, крыша над нами, хотя она и покрыта белым светоотталкивающим составом, в летние дни раскаляется нестерпимо и заставляет вспоминать свинцовую кровлю венецианской тюрьмы „Пьомби", где в свое время содержали перед костром Джордано Бруно и, надо полагать, не его одного.

Кажется, что спасение - сквозняки. Но для этого нужно хоть какое-то движение воздуха, хоть какой-то, условно говоря, ветерок. Хоть бы комарик потрепетал крылышками! Но нет, запущенный враздрызг вентилятор обдает тебя туннельной волной сжиженного зноя, и, как положено глупой рыбе, ты начинаешь осоловело ловить жабрами и *ртом* несуществующий воздух и вяло грезить о моржевании и мороженом.

Возникает вопрос: как быть с окнами? Держать их открытыми или закрытыми? И что по этому поводу советуют старожилы, многоопытные архонты, о которых принято вспоминать только в одном сомнительном контексте - „старожилы не припомнят". Там, в Союзе, они не могли припомнить „таких морозов", здесь они, что ни год, не припоминают „такой жары". А чего ждать от склеротиков-аксакалов? И даже такое диалектическое изобретение ленивого мавританского гения, как жалюзи-трисы, пасует перед оголтело-прямолинейным светилом, раскалившим их добела.

Но если ты, выжженный, как чеченский аул-95 или саксаул каракумский, выжил и дожил до осени и даже до дождливой зимы, окна перестают быть летками гудящей вселенской домны и становятся тем, чем их замыслил Творец: зрачками, безвыборно вбирающими зрелища - и общегородской срач громоздящихся внизу полиэтиленовых свалок, кошачьих, понимаешь, универсамов, и потоки мокрых машин, подобных шуге, - этакий ледоход перед ледоставом, - и слезливые брызги, скачущие по кафедральному куполу зонта, возведенному за неуловимый

миг с таким треском и шорохом взметнувшегося крыла, что еще с детства ждешь от этого жеста каких-то томительных фокусов-покусов; и - ни к селу ни к городу - вдруг перекрывший движение марафон, где впереди, как всегда, бегуны-евреи и, как всегда, легконогие африканские; и анфилады таинственных комнат в банке напротив, сейфы и интерфейсы, и искупавшуюся в кипящем масле картошку фри (или фрю?), соскочившую на тротуар с пробежавшей в чьих-то жадных руках питы, и внезапную синеву, тут же исчерканную фломастером военного самолета, и тромбон, блеснувший туда-сюда в руках тетатетного, на пятом же этаже, соседа, - словом, все, что надо и не надо бы иной раз видеть.

Вчера, ближе к вечеру, машина сшибла мотоциклиста, прямо посреди перекрестка, не насмерть, к счастью. Вокруг моментально образовалась мертвая зона - пентаграмма, ограниченная пятком раскатившихся яблок. Он сидел на своем затихшем луноходе неподвижно, чуть отклонясь от вертикали, вытянув сбоку неестественно удлинившуюся, как будто лишнюю, видимо, сломанную ногу, и был похож на перевернутый знак радикала. В гущу автомобилей с легкостью иудеев, переходящих Красное море, врезалась, заливисто воя, полиция, за ней санитары с носилками; пострадавшего увезли, мотоцикл убрали, машину-злодейку, вздернув ее на дыбу, отбуксировали с дороги, воды снова сомкнулись, и на асфальтовом дне остались только яблоки, раздавленные вмиг, похожие теперь на морские звезды.

Все это совершенно беззвучно, то есть в таком почти никогда не стихающем гуле, грохоте, гаме уличного движения, что звуки перестаешь различать и присчитываешь к таковым только сирены амбулансов, миштары и пожарников. Остальное превращается в фон и становится незаметно, как декорация в увлекательной пьесе.

На контрасте по-настоящему слышна субботняя, примерно до обеда, тишина, а тот всеобъемлющий и всепроникающий, даже на клеточном уровне, покой, что нисходит на нашу страну в Йом-Кипур, превращается в ласку, запоминаемую надолго.

Так, помнится, в детстве какая-то бесконечная, начавшаяся сугробами и студеными сквозняками болезнь, вроде ветряной

оспы или воспаления легких, запомнилась закрытыми изнутри днем и ночью ставнями (считалось, что свет может быть вреден), и была блаженная духота ухода в небытие, и духовитый пар картофельных ингаляций, и невесомость испарины, и сладкий камфарный запах согревающих компрессов, и новогодний подарочный хруст вощеной бумаги на шее, и забытье с расчесами, и багровые, на ребрышках, пятаки кровососных банок... и вдруг внезапное, как прикосновение ангела, выздоровление, и встаешь в просторной пижамке на тонких, как спички, ногах, с утолщениями на коленях тоже вроде спичечных головок, и неверной рукой открываешь ставни, а в глаза - волной - зеленый апрель, зеленый шум и прелесть оперившихся деревьев, и сквозящее сквозь них, текущее и кипящее на свежей листве солнце, - это было окно в рай, - и обморок, радостный обморок освобождения от мороки!

Сейчас, конечно, все не так, далеко не так, но когда неизменно встаешь по будильнику в пять утра и с той же неизменностью смотришь в окно и видишь на неизменном месте, словно уготованном для звезды, над лесом телевизионных антенн, чуть левее сигнальных огней башни Дизенгоф-центра разрастающийся легкоплавкий посадочный луч выплывающего из средиземной мглы самолета, и так изо дня в день, из зари в зарю, и так до сортира, до зубной щетки, до обрыдлого, как ваша демократия, нес-кафе с молоком, каждое пробуждение отмечается пролетающим над тобой небесным телом - небесным огнем, - понятно становится, что это - осколки, отблики, световой телеграф того же незабытого счастья.

Однажды к полуночи по небоскребу банка забегал фантастический ядовито-зеленый змей, как будто махину здания примерялся срезать гиперболоид инженера Гарина. Это было непонятно и страшновато; потом в газетах мелькнуло что-то о лазерной иллюминации.

И еще одно окно вспоминается тебе, пока натягиваешь носки и одежу, пока к самолету катит в аэропорту мерцающий фонариками трап, пока нашариваешь в бледнеющей темноте запропастившиеся как всегда и как всегда холодные, с заусенцами, тапки, пока пассажиры - может быть, новые твои земляки -

выходят из автобуса на ступени под надписью "WELCOME", что следует переводить исключительно как „НЕИЗВЕСТНОСТЬ", и пока ты, безнадежно пытаясь не треснуться костью об угол кровати, шкандыбаешь из комнаты, скрипя суставами, мимо ответно скрипнувшей двери, - помнишь ли, помнишь невозможную юность и ту комнату, и то окно, где серебристые тополя своим лепетом не давали вам спать всю ночь, и был там какой-то, как ты убеждался каждое утро, дефект стекла, пузырек, раковина, что ли... но каждую ночь это неизменно забывалось, и какая бы ни была погода, хмарь, снегопад на дворе, что угодно, - невидимый фонарь превращал эту точку в звезду, и она светила тебе непреложно, неотменимо, разблескиваясь и переливаясь через край жизни, и теперь, выходя на кухню, ты, по старой привычке, разводишь ее хрупкий свет руками и дышишь прерывисто, и что-то такое все еще позволяешь себе воображать о своей жизни и о той, уже не твоей, что была да сплыла.

Е.Б.Ж.*

Е.б.ж. и доживу до пенсии, до нищенского вашего пособия по старости, я наконец закрою свой разговорчивый неопрятный рот - буду мычать, блеять, томно мурлыкать, а то и научусь, е.б.ж., свистать чижом или кенарем (помните „Танго соловья"?) и стану на зорьке из-за угла будить на работу разомлевших слесарих и *пкидот*.

Куплю или, скорей всего, попрошу сына (на худой конец, соберу деньги художественным свистом) купить мне крошечный курятник в Верхней Галилее - Рош-Пина, душа моей души! - и чтобы из окна виднелась Гора Блаженств и - блескучей солнечной соринкой - Кинерет. Разумеется, нужен маленький участок: гены старика отца, обожавшего огородничать, мятутся во мне; две грядки и яблоня с кислыми яблочками - разве это так много?

---

* „Е.б.ж." - „если буду жив" - сокращение, принятое Л.Н. Толстым в его дневниках.

Утомившись презрением, я отрешусь от всего: на праздники буду попивать „Фанту“, выпишу из Монголии дубленку и росистым развесистым утром залягу морковкой на грядках - пропитаюсь туманом, между пальцами камни, а розоватому солнцу, выплывающему из Сирии, скажу, е.б.ж., нежное „здрасте“.

В этом мире не будет места газетам.

Мой унявшийся аппетит - виноградинка Сирано, чуть причерствевший обломок халы, трогательная стрелка зеленого лука, крепкий черный горячий чай с привкусом жести из детства... что еще нужно для последнего счастья?

Простенький кроссворд - как исключение и ностальгия.

Слово из шести букв с мягким знаком на конце? Конечно, жжизнь!

Пулемет и волчьи капканы по углам двора, но боюсь, что если до этого дойдет, лень, которую я наконец смогу себе позволить, не даст мне дотянуться до собачки или как это у вас называется. Так и околею между собакой и волком, в лучших традициях б. русской литературы.

Но это, конечно, е.б.ж.

Почтового ящика не надо - редкие письма, пришедшие по ошибке, буду без сожаления возвращать почтальону. Ну и что, что написано „Микки Вульфу“? Каждый дурак знает, что он - не я.

К вечеру, после грозы - радуга. Лечение прополисом после многодесятилетнего культурного стресса. Телевизор надежно выключен. На пыльном экране пальцем прописано: „Сам дурак“. Дюк. Лучше Сачмо - „Сан-Луи блюз“. Его истерзанные музыкой губы. Ради них я попросился бы в рай - обмахивать их опахалом.

Гость, произносящий вслух „духовные запросы“, разворачивается лицом на юг и выставляется за калитку поджопником.

Когда я совсем ослепну, пусть, е.б.ж., меня поставят считать на рассвете, у отваленного камня, овец и баранов - наощупь, старыми склеротическими руками, неловко выбирающими из шерсти колючки.

Ты ль, мой прекрасный любимец? Зачем же пещеру последний
Ныне покинул? Ты прежде ленив и медлителен не был.

Первый всегда, величаво ступая, на луг выходил ты
Сладкоцветущей травою питаться. Знать, чувствуешь сам ты,
Бедный, что око мое за тобой уж не смотрит; лишен я
Светлого зрения гнусным бродягою; здесь он вином мне
Ум отуманил; его называют Никто...

Тут я начну сбиваться со счета и засыпать.

Сны как подворовывание квантов своего и чужого прошлого, рельефная географическая карта из гофрированного картона, по которой бродят теплые тени забытых однокорытников, летают осы, похожие на флаг неизвестной страны, бугрятся зеленые склоны, овеваемые - тьфу! - пододеяльными ветерками... О, е.б.ж., ящерки на устах, душистый знойный бурьян Синей горки, фиолетовые металлические доспехи заблудившихся в июле майских жуков, прищуренные зенки пленных фрицев, строящих гараж автотреста семь за сараями и кучами угля, - неужели я никогда не увижу вас больше?

И не надо. Лирическая проза отличается от настоящей своей нескрываемой второсортностью, как подростковый сон от хорошей, веселой, в легком подпитии, девки на сеновале. И до, и в самый раз, и потом хохочете оба, особенно потом, и расставаться ничуть не жалко, особенно когда точно знаешь, что не вернешься, потому что если вернешься - сгорит сеновал. А стало быть - держи меня крепче, Галилея!

Зимой, под легким снежком, шоссе на Цфат делается мокрым и скользким, как плащ болонья. На столбиках у крутых поворотов вороны бдительно поблескивают агатовыми глазами. Е.б.ж., они меня приручат - найдется столбик и для иммигранта. С гранитного среза капает за ворот, проезжающий автобус задевает проросшую из трещины ветвь, и, разогнувшись, она мстительно хлещет скалу и несколько мгновений еще качается, словно думает, не ударить ли снова. Не так ли и ты, Брут, что бойкая необгонимая тройка несешься?

Считать покойников - это как? Только сегодняшних или завтрашних тоже? А позавчерашних? А тех, кто уже под землей, - миллиарды и мириады? А тех, кто на небесах, не знаемых мною, не мною любимых? А дорогих считать так же, как ненави-

димых? Нет, а ненавидимых считать за половинки? За мнимости? Не может быть, чтобы кто-то не ведал этим хозяйством, не вел прошитые по корешку дратвой амбарные книги, не вписывал туда поступающих закозявленным ржавым пером типа „скелет", обмокнутым в чернильницу-непроливайку с тускнеющими бензиновыми разводами на гладких стенках лилового кратера.

Е.б.ж., пусть даже это совсем ненадолго, меня не мешало бы подпустить к учету живущих: молчун с высунутым от старания языком, я буду многим - о, многим, поверьте! - приписывать новые и новые годы, особенно этим, из промчавшегося автобуса, чтобы жили и жили, сложенные заново из осколков кувшина, сшитые из обрывков негодной плоти, скрепленные смальтой моей веры, вдохновленные моим прокуренным духом, свежим воздухом бальзамических гор, трепетным, неуверенным, таким человеческим: *«Талифа, куми!»* - „Встань, девица!.."

И, может быть, две-три книги для листания по утрам, занятный какой-нибудь словарь, плетеные пустые корзины на коромысле, белый бурнус проходящего друза, изредка - звонок старого друга, но как-нибудь так, чтобы телефона у меня не было.

ВИНА КОМЕТЫ

„Вошел - и пробка в потолок,
Вина кометы брызнул ток..."
Пушкин

Как часто бывает, обещали и надули. Но, может быть, мы просто не сумели увидеть обещанное.

Зато совершенно бесплатно, без афиш и анонсов, нам показали гораздо более громкое и впечатляющее зрелище. Где-то в час пополудни обычный уровень шума за окном резко повысился и работать стало невозможно. С беззвучными в этих ревущих мегабеллах проклятиями я вылетел на балкон, злобно щелкая резинкою шаровар.

Картинка была еще та.

Бесконечным стремительным потоком в древесно-каменном

каньоне улицы Ибн-Гвироль неслись мотоциклы и мотороллеры с прочно оседлавшими их мотоциклистами и мотоциклистками. Они обтекали нормально едущие машины, как вода в горной речке, вихрясь и пенясь, обводит стоячие лысые валуны; мгновеньями, когда мотоциклы давали газу и делали рывок, казалось даже, что машины немного осаживают назад - вроде пушечного ствола при отдаче. Между тем светофоры перемигивались в будничном ритме: на красный волна замирала, но тут-то и поднимался особенно густой и многоголосый рев клаксонов; резвые мустанги, благородные карабахи, мощные тяжеловозы и даже задравший хвосты молодняк - все так и норовили выскользнуть из-под; но ездоки держали поводья крепко, гудя во что попало как ненормальные и поддавая конусовидные спиральки вонючих дымков в суперстоличную атмосферу над Бейт-Элиягу; не успевал вспыхнуть желтый, как самый приемистый первый десяток уже выплескивался вперед на задних колесах, приподсев на ободья, царапая крыльями землю, едва не срывая подфарники с последних улепетывающих в поперечное ущелье „субар“ и „фольксвагенов“; агрегаты вставали на дыбы, и казалось, будто брезжившие сквозь их контуры застоявшиеся медные всадники целыми ротами самоубийственно бросаются в Маркизову лужу со своих карело-финских утесов; глаза невольно выискивали на асфальте струящихся вослед змей, но змеи не поспевали, раздавленные накатывающей сзади безнадзорной оравой.

Там были все и всякие, кроме, слава Богу, профессиональных спортсменов; больше одиночки, но у многих за спинами складны́ми скла́дными рюкзачками ютились эллипсовидные мурмуреточки, тоже в шлемах, что их не портило.

Куда, прорва?!

Я бы уподобил их косяку сельди, но сельди все на одно лицо, заглянешь в глаз - ни уха ни рыла, одна холодная благостыня над бледным старческим ртом, а тут - получасовая пестрота касок, курток, сапог и краг, волнистых рулей, расписных бензиновых баков с орлами и стрелами, бахромчатых пижонских подсумков из крокодиловой кожи, колес, увитых цветными лентами... куда? Хрен их знает.

Две девчоночки, совсем малышки, вынесенные зеленым све-

том на островок для пешеходов, пытались, кажется, расспросить одного из подвывающих дельфинов, и он, похоже, что-то им отвечал, почесывая пластиковый затылок, но вздрогнули разом светофоры, качнулся, коброй раздув капюшон, гребень волны, только рукой махнул дельфин с той стороны перекрестка.

Все новые и новые орды выныривали справа и уносились налево, в белеющий пролет улицы Иегуды Галеви. Их не объединяло ничто, кроме ужасающего, почти реактивного грохота и бараньего водопойного блеянья сигналов, но было ясно, что это одна компания и что не чай они едут пить. Глаза быстро привыкли, вроде так было и будет всегда, но слух косней взгляда, ему нужны дни, а не минуты, и когда все кончилось, округу, самой себе не веря, залила безбрежная луговая тишина, которую даже сирены мимоезжих амбулансов нарушали не больше, чем стрекот кузнечика за пятой ромашкой налево.

Я думал, что все объяснят по радио, так же доступно и просто, как объясняли накануне насчет кометы, что ли, Титикаки. Ближе к полуночи жителям Тель-Авива рекомендовалось выйти на крыши и, задрав головы, уставиться в зенит. Ввиду общеизвестной близости Израиля к небу комета должна была быть очевидной. Пропускать уникальный цирковой номер любителям не рекомендовали, поскольку ближайший проход этого небесного тела (попробуй скажи такое прохожей девушке!) ожидается лишь через десять тыщ лет. Мы с сыном тут же схватили перламутровый театральный бинокль и поволоклись по лестнице на крышу, спотыкаясь в полутьме о дворничьи швабры и ведра.

Розовый небосвод был озарен земными рекламами. Справа угрюмой громадой нависал банк „Апоалим". Где-то через дорогу тайно жарили шашлыки.

- Ну, - сказал я, больно ушибшись о бельевую веревку, - где твоя несчастная Титикака?

- Счас-счас, - оптимистически отозвался мой сын, озирая редкие бледные светила через оптический прибор с ремешком. - Счас прилетит.

- Может, эта? - спросил я, поеживаясь.

- Не, непохожа.

- А вон та?

- Если бы я знал, где тут зенит, - удрученно вздохнул он.

- Он не тут, - наставительно сказал я, воздев указательный палец. - Он там.

- Ну, значит, вот и она...

Я забрал у него бинокль. То, что в радужной хроматической оболочке невнятно болталось на небе рядом с зенитом, было похоже на комету не больше, чем на гамбургер из „Макдональдса".

Так я это и сформулировал. За честь небес он счел своим долгом вступиться:

- Не видишь? Вон - два хвоста...

- Если два, бежим спать. В следующий раз разглядим получше.

Что бы мы там ни видели, это было замечательно. Явные и неявные астральные объекты, виляя хвостами и мотая многомиллионнокилометровыми протуберанцами, в абсолютной тишине пролетали мимо на трех космических скоростях, что всерьез и надолго определяло наши с ними взаимные масштабы. Тихо взрывались сверхновые, беззвучно багровея, догорали старые, черные дыры облизывали черные губы, хорошо смазанный спутник-шпион неслышно щелкал фотозатворами, и даже дозревший ароматный шашлык доедали вдали без единого звука.

А насчет завтрашних мотоциклистов средства массовой информации промолчали. Но я теперь знаю: это вина кометы. А может - сама комета.

P.S. Опять „Вести" все испортили. То был театральный, вроде как с митинга, разъезд.

ВРЕМЯ ЖЕСТОКИХ ЧУДЕС

Сын открыл дверь на кухню, где я по старой советской привычке читал что-то, а именно, запивая чаем, Фейхтвангера, роман про Иосифа Флавия, и сказал, радостно бледнея лицом:

- На Рабина покушались. Только что.

Чтобы успокоить его, я не торопясь поднял глаза от книги и спросил:

- Еврей или араб?

Он всегда улыбается в минуты волнения или страха. Но только я знаю, - сам такой, - что это не радость, а замирание на краю бездны, когда мимика, вазомоторика лицевых мышц становится неподвластна ни приказу, ни сердцу.

Мы пошли к телевизору. Молодая женщина - по ее лицу блуждала такая же, осеняющая истерику улыбка - твердила как попка:

- Рабин не ранен. Рабин не ранен. Да что вы, нет, Рабин даже не ранен.

Стали без конца крутить кадры: полицейские оттесняют схваченного террориста к стене *Ган а-ир* - Городского сада, - потом, словно давая старт марафону, бегут вместе с ним к патрульной машине. Все страшно быстро и невероятно замедленно. Их было все больше и больше - ровно столько, сколько не хватило, чтобы прикрыть Рабина.

- Еврей, - сказал сын. - Точно пока не известно, но, кажется, еврей.

Еще показали площадку перед приемным покоем больницы „Ихилов". Это были странные, тоже словно воздушными пузырьками продутые кадры - бессодержательные, бессмысленные, наполненные незнанием настоящего и сквозящим предчувствием кошмара.

Первый канал казался более осведомленным. На втором были растеряны и разводили руками.

Уже наутро узналось, что еще в машине у него исчезли пульс и давление. Он действительно не был ранен, а был убит.

Такие выстрелы ничего по-настоящему не решают. Но, в сущности, они меняют кое-что.

Насколько я знаю историю евреев, они еще никогда не убивали своих лидеров так, как убили этого: в упор и в спину.

Министр Йоси Сарид сказал, что после событий вчерашнего вечера Государство Израиль уже не та страна, что была.

Он ошибается. Переворот произошел в феврале 94-го, когда Барух Гольдштейн расстрелял в Пещере праотцев магазин сво-

его автомата. После этого стало возможно все. В том числе - три выстрела Игаля Амира. И много других, которые еще не прозвучали.

Смотрите, что получается. Мы, евреи, даже те, которые считают себя, как Иосиф Флавий, гражданами вселенной, все-таки в глубине души до поры верили в свою исключительность. Это исключительность особого рода, не льготная. Мы считали, что каких-то вещей, каких-то поступков евреи не могут себе позволить. В нашей крови, так дышалось нам, живут, слившись с ней, все шестьсот тринадцать заповедей, налагающих на горб куда бóльшую ответственность, чем та, которую несут неевреи, обремененные всего лишь семью запретами. Ну и еще эта... демократия.

После того, что сделал Барух Гольдштейн, уничтожив молящихся безоружных арабов, наш „расизм наизнанку" рухнул. После того, что сделал Амир, даже руины его рассыпались в прах.

Теперь Израиль вошел, наконец, в клуб цивилизованных стран. И наш убитый премьер - пусть будет тепло ему на том свете - приобщился к компании эрцгерцога Фердинанда, югославского короля Александра, Джона Кеннеди, Альдо Моро, Улофа Пальме, Мартина Лютера Кинга и многих других солидных господ. Я думаю, они найдут о чем поговорить там, бродя в толпе врасплох и невинно убиенных людей. И, наверно, в толпе этой намного больше народу, чем было на последнем митинге Рабина.

А мы, провожая его глазами, только растерянно горбим плечи. Говорят, что смерть всех уравнивает. Быть может. Но, наверно, не всякая. Мы были равны с Рабином, когда он был жив, когда с ним можно было спорить, когда его можно было ненавидеть, презирать и даже сомневаться в его душевном здоровье, когда его можно было называть, в зависимости от собственных интересов и привычек, предателем или миротворцем. Теперь - ни возразить ему, ни опровергнуть, ни высмеять, ни даже просто вздохнуть. Убийца перевел убитого в другое небесно-человеческое качество: Рабин стал неподсуден и благодаря этому более прав, чем при жизни.

В нагрудном кармане премьера был найден листок с текстом песни о мире. Весь, как положено в сказке, в крови. Слишком красиво. Будто готовился.

Его застрелили в центре страны. Ощущение такое, что вместе с убийцей он искал самое подходящее и видное место, чтобы окончательно войти в историю. Сначала Амир не убил его в Яд ва-Шеме. Потом Амир не убил его в Кфар-Шмариягу. Потом Амир убил его на площади Царей Израиля в Тель-Авиве. На третий раз, тоже как в сказке. Он словно короновал царя Ицхака.

Мы переключились на всеведущую Си-Эн-Эн, и они сказали: три пули. В спину, в плечо и в телохранителя. Телохранитель поспел только к третьей и остался жив.

Время было для рабочего человека позднее, глаза мои слипались. Бесконечные повторы кадров стали раздражать насытившееся зрение. Они создают иллюзию обратимости - открути целлулоидную ленту назад и сними по-другому.

Я пошел спать, сказав сыну, чтобы он меня разбудил, если будут какие-то новости. Засыпая, я думал о том, что все мы недостаточно близки, чтобы ощутить общее горе и исправить что-нибудь в общей жизни. А жаль: старик, какой-никакой, был наш человек. И жаль его жену, нет, наверно, уже вдову, эту скандальную Лею, как она там, в больнице...

Потом я попробовал представить себе, как засуетятся назавтра все эти, такие живые и бойкие, в Кнессете, но стало до того противно, что я чуть не сплюнул с досады. Еще я думал о том, бьют ли убийцу в полиции. Если бьют, бормотал мой коснеющий язык, это нехорошо. С Рабином я как будто уже простился: его трудно было представить себе живым. Хотя по второму каналу только что прокрутили кусочек его последнего выступления, пленка казалась старой, многолетней давности и, в общем, уже потусторонней.

Поэтому, когда сын глухим голосом, чуть приотворив дверь, сказал: „Он умер", - я не удивился и только кивнул головой. Но он все стоял и молчал, словно ожидая чего-то, - не воскресения же мертвых! - и я сообразил, что в темноте он не увидел моего кивка. Тогда я сказал: „Слышу", - и дверь закрылась.

5 ноября 1995 г.

Как ни странно, я живу на берегу Средиземного моря.

Понта, выражаясь по-эллински.

Стань лицом к волнолому: позади и чуть выше - пуп земли, Иерусалим, вокруг - уже невидимые, но все еще пылящие в глаза руины семи чудес света, справа, за Анатолийским плато, три четверти жизни минус олеандровый Крым-Кавказ плюс березки - поленницами на тыщи кэмэ (удивляюсь, как, при развитой размягченности мозга и сердца, хватило вкуса их не воспеть).

Слева пирамиды: за полторы тысячи шекелей на супружескую чету получишь из-под безносого Сфинкса от нахального египтенка в ответ на восторженное „Да, да, я руси!" - не по-восточному лаконичное "Бля!" (рассказал Л. Финкель).

Пробужденная, продравшая угольные зенки Африка...

Впереди, как сказано, волнолом с удильщиками.

Румяные, как русская, сейчас из парной бани, красавица, морские окуни, у коих не разберешь, где уд, где шип. Шрапнелью - вразбрызг - по-девичьи пугливые (из советского кино) стайки ставридок. Марсианская побежка щитоносных крабов с бородавчатыми карими наколенниками. Песчинки за ними встают фонтанчиками, словно пулеметная очередь в рапидной съемке. Приросшие к влажному бетону мидии - напрасно говорят, что „история мидян темна и непонятна": абсолютно очевидно, что это народ, однажды и поголовно совершивший метемпсихоз, - высшая знать обернулась перламутровыми жемчужницами, духовенство постриглось в устрицы, интеллигенция - в мидии, а мужичье, как водится, стало раком. Того и гляди в этой позиции переживут и евреев.

А дальше что?

Понт оказался скорей левантийским, чем средиземным, будто необозначенное средостение планеты, по-домашнему бултыхавшееся где-то у Сицилии, веков шесть назад отбуксировали куда-нибудь на Азоры и, пометив буйком, за пятак продали Новому Свету.

Если, скажем, полесские, оглушенные Чернобылем евреи могут спроста принять Ашдод за Майами и, хозяйственно похло-

пывая пальмы по породистым крупам, чувствовать себя на седьмом небе Арават; если русифицированные до необрезанности самарцы по-псячьи тоскуют в кокосовом этом раю о плесах и утесах имени Стеньки Т. Разина; если высокомерные москвобуржцы и питеричи, закидывая к спине алые индюшиные сопли, заунывно перебирают на пальцах свои культурные преимущества перед аборигенами *шука* Кармель; если рафинированные прибалты, тихие и беспощадные, как латышские стрелки, вежливо игнорируют и тех, и других, и третьих; если, наконец, бессарабцы, одесситы и прочая вахлацкая подольщина, с их неистовой южной жадностью к земным благам и с хасидским беззаботным презрением в крови ко всему, что не есть они, торопятся жить и чувствовать, интересуясь географией лишь на уровне авиатарифов, - то местное население бытует на зависть самодостаточно: четырехтысячелетней давности филистимляне, оседлавшие литораль, вполне устраивали бы его и ныне, если бы не рвались из моря на сушу, как заносчивая какая-нибудь волна. Америка для него - не более чем семейная тумбочка, в щелях которой иной раз обнажится спропьяна завалявшаяся десятка, Европа - полторы сотни семейных пансионатов, где можно покуражиться, не опасаясь полиции, Азия - китайцы, которых почему-то нигде не видно, и приветливые сыны Сиама, которые всем бы хороши, если б, в отличие от сынов Сиона, не лопали хозяйских собак. Да и Черный континент - сплошь потомки Балкис-Македы - был бы даже мил, но риск тотальной иудаизации, веющий оттуда мальтузианскими ветерками, заставляет раввинов с улицы Давид а-Мелех опасливо переступать с ноги на ногу. Кенгуру не считаются, а озоново-знобящая дыра Антарктиды слишком далека даже для мыслящих глобально.

Иной раз за столом с порядочными людьми становится неловко не испытывать ностальгии: как это у всех она есть, даже вот у Василька, а у тебя нет? Вроде как родиться без аппендикса или наоборот - с хвостиком. Еще неприличней считается быть в общем и целом счастливым - чего же ты тогда стóишь, сельпо, если тебе хорошо? Лично я знаю людей, которые пытались сосчитать, сколько волн из мирового океана выбегает за час на пляжи у дельфинариума: когда после этого они расплачивались

на углу *за питу с фалафелем,* шекели в их карманах превращались в отшлифованные, с мягкими краями, осколки античных амфор; но это была единственная кара за попытку взглянуть на себя со стороны моря.

Славно все-таки хоть иногда, хоть минутами, пожить пообочь от идеологии и морали, не съезжая, однако, в животность. Или - съезжая, но неглубоко. На тот же Кармель можно добраться шестьдесят третьим: садишься на Хашмонаим или у „Габимы", спускаешься по тенистому бульвару Бен-Цион к Джордж а-Мелех (пристыженный взгляд направо, в сторону Дизенгоф-центра, отмытого после взрыва и прибранного до беспамятства), выкатываешь по взгорку улицы Бограшов к эфиопскому или болгарскому, что ли, посольству, и там, сразу за скверико м имени неизвестного полицейского, бьет тебя издали по глазам синий лоскуток Понта, такой безмятежно и безбрежно прекрасный - чем? Своим неотменным присутствием в мире, мгновенным напоминанием обо всем, что только ни есть на свете совершенно независимо от тебя. Никакими словами - и нет таких слов - не выскажешь и не объяснишь, какой это восторг: встретиться с морем глазами. Одна соленость чего стоит - 39,5 промилле у Яффо, 36 промилле у Гибралтара: поневоле скупая слеза скатится по щеке.

А приедешь домой, запыхавшись встащишь тележку с картохой на пятый этаж, скажешь только кухарке: „На, Маврушка, шинель..." - и бродишь по дому вяленой воблой, как тень Овидия. Позвонит приятель из Маалота, точно похвалится: своими глазами видел порхнувшую в соседский огород „катюшку". Ответишь вяло: не бздо, старик. Не о себе же речь, и его не так жалко, как бы положено. Без булды отдал бы эту прекрасную жизнь за детей - своих и его, - да никто не возьмет.

МОЙ БРАЗИЛЬСКИЙ ДЯДЯ

Почему я такой красивый и умный?

Красивый потому, что как же иначе, а умный от горя. Дядя мой, опочивший лет пять назад Самуил, был философ.

Ему, скажем, постреленку лет двадцати семи, говорят: „Сходи, Самуил, принеси дедушке судно". А он в ответ: „Я не могу - я думаю". И тут дедушка хоть запрись, хоть укакайся.

Он был мне, впрочем, не совсем дядя, а, так сказать, младший брат матери моей мамы. Я ему, это точно, внучатый племянник. Хотя теперь, когда он умер, не знаю: может, на самом деле аватара и реинкарнация.

Я, в общем, мало что о нем знал. И даже нет у меня под рукой его черепа, чтобы, на макар несостоявшегося нобелианта М. Герасимова, вызвать из небытия этот смутный, мулатски-смуглый, в усиках, образ и, похлопав рукой по глянцевому затылку в зубчатых костяных шовчиках, сказать: „Бедный клоун! Где теперь твои прыжки и ужимки? Где Кришнамурти и Спиноза? Где желейный твой мозжечок и махина-гипофиз, разливавший в бразильской сельве, над синей бухтой Сан-Паулу этроговый аромат еврейских гормонов?"

В детстве моем считалось: если за границей - значит богатый. Оттуда не приезжали, туда уезжали. За несколько до меня поколений нормальный еврей удирал от своих *цурэс* в Америку, ненормальный - в Палестину, а ленивый сидел в Бессарабии, дома, и с досады на социальное бесправие в хвост и в гриву строгал детей.

Судите же, каков был мой дядя, если, с одной стороны, он оказался в Америке, хотя и в Южной, с другой - ничего кроме халупки на берегу океана и книжной ятки в Рио не нажил, а с третьей, при всей своей легендарной лени, детей не имел.

Дуракам везет. В мужья его взяла не беспутная шалава, что, казалось, было бы совершенно естественно, а напротив, приличная добродушная особа русско-романских корней по имени Н., и, еще странней, она его обхаживала, обстирывала, откармливала, обожала, и, сидючи, бывало, с вязаньем на закате, точней - в кресле-качалке на веранде под грохот прибоя и гирляндой багряных перцев, похожих на зубы только что пообедавшей акулы, „Муля, - говаривала, - я не прошу тебя выплясывать самбу де Жанейро, но если ты будешь питаться одной философией, твой индейский гурон доведет тебя до хворобы".

И все это на безупречном португальском языке, который знает в Бразилии любой сапожник.

По другую сторону океана прошла между тем очередная мировая война, в Бессарабии умер Сталин, моя мама купила гнедой рояль, свесивший деревянный, полувиоловой формы хвост из фрамуги ее микроскопической комнатки, и Миша Кошкодан, знаменитый на Ильинском базаре бонвиван, адвокат и полутенор, начал брать у нее уроки вокала. Певывал он, помнится, серенаду Дон-Жуана -

„Гаснут дальней Альпухары
Золотистые края..." -

красиво, как в Гаграх, и за что я люблю тебя, тихая ночь, а также национально-щекотливую арию из оперы Фроманталя Галеви „Дочь кардинала, или Жидовка", причем уже начальный, сопровождавшийся плавным разлетом руки от аппендикса до вонючей печки отрезок мелодии:

„Рахиль, ты мне-е дана..."

- слышен был на север аж до Кузнечной и на восток аж до овощного, и на запад до Котовско-Купеческой, а на юге мертвецы с Армянского кладбища прокашливались в своих добротных, времен проклятого царизма и румынской оккупации, гробах, и сумасшедшая Нюся Гроссман, мать убойно-здравомыслящего Исака, что ни день ломавшего по кругу то руку, то ногу, билась костьми об стенки дворовой уборной, и, верно, юный Лева Беринский в цыганской слободке Тэбэкэрее, что за бассейном „Локомотив", качал лихой головой и озабоченно говорил хитромудрому другу Валерке Гаже: „Теперь понимаешь, от чего Микки оглохнет на левое ухо? Такие у него и стихи пойдут". На что Гажа, как будущий кинорежиссер, не без вульгарности отвечал: „Хлюзда доказала, пошли и мы девок щупать!"

Короче говоря, почтовая связь Эсэсэрии с глобусом была почти полностью восстановлена.

Таких идиотских, таких обстоятельно-бессодержательных пи-

сем, какие дядя Самуил строчил под копирку всему нашему захиревшему клану, я больше не видал и, наверное, не увижу. Тут надо понимать мое воспитание. Как положено хорошему еврейскому мальчику, я еще до рождения навек обручился с великой русской поэзией. Из первого и наилюбимого помню будто народное: „На дубу высоком Да над тем простором Два сокола ясных Вели разговоры. А соколов энтих Все люди узнали: Первый сокол - Ленин, Второй сокол - Сталин". „Усатый!" - sotto voce уточняет группа басов. Эти приятные для слуха секвенции, похожие в записанном виде на подпорченный немецкий текст, где за ограду строки́ перелезают не столько существительные, сколько союзы с предлогами, и с немецким же падежно несогласованным провизором Энтихом, конечно, без труда, как сивуха ладан, перешибали какого-нибудь там Анакреона, подсмотренного в дребезжащем и лязгающем трамвае:

Бросил шар свой пурпуровый
Златовласый Эрот в меня...

И тут, представьте, приходит конверт из Сан-Паулу с аккуратно подклеенным назад клапаном, в котором письме дядя размеренным дактилем сообщает, что, прознав о турне, совершаемом по Европе индийским мудрецом Кришнамурти, он, Самуил, решил перехватить его в Лондоне и окончательно выяснить недопроработанные подробности насчет смысла жизни. Кришнамурти и сам не облез бы заглянуть в Бразилию, но дядя, наоборот, нацелился навестить свою одичавшую родню в Кишиневе, поэтому ученый индус, после нанесенного ему дядей на Пикадилли визита, завернул оглобли обратно в Калькутту. Он, Джидду Кришнамурти, считал, что истина раскрывается только в свободном излиянии личности, чему препятствует любая философская система. Дядя же, в своем ослином упрямстве, полагал, что и Б.Спиноза с его геометрической этикой имеет резон, и утомленный мудрец, как призналась нам шепотом правдивая Н., велел двум мохнобровым лакеям в тюрбанах вывести настырного фраера за скобки.

Встретив его на вокзале и проводив в гостиницу, мы стали

готовиться к приему. Бабушка - она еще, кажется, была жива, а если нет, то ради такого братца явилась бы, - напекла фирменных коржиков и сбила селедочный форшмак, в просторечии называемый анчоусами, а Далем ошибочно трактуемый как запеканка: дядя, совсем сбесившийся с жиру, мясного не ел, даже если давали. Он торжественно и быстро, как хор „Славься, славься!“, вступил в прихожую и позволил Н. снять с него реглан. След загнутой туфли на его огромном, как Бенгальский залив, заду все еще сохранял форму Индостанского полуострова. Ясными сытыми глазами он обвел комнату и, выхватив взглядом два коричнево-черных корешка, сказал:

- Это кто же у вас читает Спинозу?

- Это мой сын читает Спинозу, - гордым и звучным голосом ответила мама. - Оба тома.

Он благосклонно перенес свой взор на меня.

Я надулся и мрачно сказал:

- Соцэкгиз.

Он замер, заломил бровь и спросил:

- Га?

Все благоговейно помолчали, а потом мы с дядей, пока ему накрывали на стол, провели беседу на сугубо философские темы: его интересовал нравственный облик советской молодежи.

ПЛАЧУ И РЫДАЮ

С некоторых пор я замечаю за собой новую способность: слезы. Всякий вечер, в любимые минуты засыпания, когда так сладко смыкаются веки и отдаленный наплывающий гул забытья выносит на затопляемый берег сознания разные интересные, трудно различимые в темноте штуки, - я вдруг яснею и отрезвляюсь от холодка стекающей на висок слезы. Она недолго остается в одиночестве: к первому глазу тут же присоединяется второй. И я плачу и думаю о том, почему плачу.

Наука дакриология (от греческого dakryon - слеза) находится, насколько я могу судить, в зачаточном состоянии, хотя пролитых

людьми слез хватило бы на Баскунчак или Мертвое море. Впрочем, такие озера всегда существовали и существуют - правда, в рассредоточенном виде. Полистайте элементарные справочники: у человека, равно как и у ряда других высших животных, наличествует так называемый apparatus lacrimalis - слезные органы, включающие слезопродуцирующие и слезоотводящие отделы. К последним относится „слезное озерцо, расположенное у медиального угла глаза. На дне слезного озерца находится слезное мясцо...“ В другом пособии пишется, что у человека в норме за сутки выделяется 0,5-1 мл слез. Как указывают маститые авторы, „слезоотделение возможно и при некоторых эмоциональных состояниях (печаль, радость)“. Таким образом, округляя население планеты до 5 млрд человек, получаем 5 тыс. кубометров слез ежесуточно. И это - только в норме, без учета печалей и радостей, когда потоки слез без труда могли бы вращать какие-нибудь полезные колеса.

Я ничего не имею против профессиональных эрудитов, но когда они утверждают, что слезоотделение происходит при раздражении зрительного нерва светом, у меня зарождается подозрение, что эти бесчувственные скоты никогда не плакали по ночам. И, кстати, случалось ли им чистить горький лук или обливаться слезами над вымыслом?

В озере собственных слез едва не утонула Алиса. Солоноватость этого секрета наводит на мысль о его родстве с мировым океаном. Особой соленостью отличаются слезы вдовиц, которые любят слизывать собаки и осушать отеческим лобзанием столоначальники, а быстрее всего высыхают они у младенцев, что объясняется несколько повышенной температурой - да что там, жаром! - их щечек.

Плачут, когда их убивают, тюлени и нерпы, и плачут, когда кого-нибудь жрут, крокодилы.

Все эти полезные сведения мало помогают мне в моих размышлениях. Согреваются и мои на колючих щеках невидимые миру слезы, и, продолжая плакать, я засыпаю.

Засыпая, я полагаю, что мой дисциплинированный мозг так и не научился отдыхать. Все неприятности и умиления довольно длинной, чтобы не сказать жестче, жизни, все грустные впечат-

ления дней и лет, все восторги страстей и общения с искусством, все болезненные гримасы бытия, томящие сердце, он привычно, почти машинально, оттесняет и распихивает по дальним закуткам и чуланчикам черепной коробки, в соседство с пыльными мешками полузабытых снов, с недозадвинутыми ящиками слесарно-фрейдистского мусора, где тускло порой блеснет из-под ветхого конфетного фантика двугривенный первой любви, где валяется сгоревшая катушка детекторного радиоприемника, измазанная выцветшими до бронзовости фиолетовыми чернилами, где только памятью разберешь на клочке неправдоподобно старой газеты оборванное волшебное слово „юция". Там же громоздятся залитые почерневшим воском подсвечники, украшавшие переднюю стенку нашего пианино "Bechstein", некогда белый, с рыжими подпалинами отпавшей эмали, ночной горшок, отцовская, никогда им не надеванная запонка, фанерный, с переломанным хребтом, акробатик на суровых нитках, плотная, с медными уголками, обложка „Детского острова" Саши Черного, в старой еще орфографии, и тому подобный божественный хлам, от которого невозможно избавиться, но из которого ничего путного, кроме шмыгающих носом стишков, не склеишь.

Вот эти-то негодные вещи, этот сам на себя напластованный и самим собою спрессованный мусор и приноровился пользоваться минутами, когда моя голова, моя лысеющая *кость,* теряет бдительность и еще не слоняется по ее переулкам рассветный сторож с гулкой колотушкой. Теперь до меня начинает доходить фраза М.П. Вергилия: „Sunt lacrimae rerum, уважаемые сограждане, я - слеза вещей", я - их нескончаемый тысячелетний плач, их неслышный, ультра- или инфразвуковой вой по бросившим их хозяевам. Я хотел бы знать, что сделано с женскими волосами, сумочками и обувью, оставшимися после сожженных в Освенциме. Мне было бы чрезвычайно важно уяснить, куда девалось перо, которым пользовался Расин (в частности, колол им в задницу Корнеля), и что поделывает писчая палочка, которой шумерский школьник небрежно выдавливал свою клинописьглинопись. Музеи, эти кладбища вещей, слишком отдают мертвечиной - табличка спешит переговорить экспонат. Но те прохлад-

ные, те горючие личные слезы, которыми я еженощно заливаюсь перед тем, как уснуть, - они настолько невыносимо достоверны, что подушка по утрам кажется мне обугленной.

Живя с относительно чистой совестью, я все же не склонен думать, что меня так уж мучат собственные свинства: недалеко время, когда они доймут меня более ощутительным и общепринятым образом. А вот слезы, достающие трезвого, держащего себя в руках человека, когда он, бессловесно глотая их, абсолютно беззащитен перед валящейся на него глыбой овеществленной истории... я был бы готов смириться с ними при условии, что ученые люди, измерившие объем макрокосма и шишку под носом алжирского бея, займутся хотя бы предварительным исследованием этого эластичного состояния между явью и сном, этого жгучего вселенского радио в его жидкой, газообразной и твердой фазе. Последняя, если не ошибаюсь, уже описана у Данте („Ад", XXXIII): „Там самый плач им плакать не дает" и т.д.

HOW HIGH the MOON!

Умерла Элла Фицджеральд, оголтело-руладная баба, слиток черного золота, народная артистка Соединенных Штатов Америки и всего свободного мира.

Она была из тех малочисленных героев и героинь культуры, присутствующих в каждом времени и немного перекрывающих его края (так перемахивает за край тарелки гроздь винограда). Такими людьми, собственно, время и обозначено. Про них редко думаешь, живы они или мертвы: они как бы живы не телом, до тебя и после тебя. Чаплин, Феллини и Джульетта, Эйнштейн, Маяковский, Пеле, „Битлз". Их присутствие есть примета твоего бытия, как метка на валенках в детском саду или белорунный след реактивного самолета над твоей головой. И когда ты оказываешься - всегда неожиданно, всегда без вины - современником их смерти, это заставляет по-новому взглянуть на дорогу, в которой зияет еще одна воронка, и на себя самого, занудно бредущего задами.

Грубой ошибкой было бы называть таких людей идолами

эпохи: это совсем другие цветочки. Разница - не во внешности, а в нежности. Я не разбираюсь в джазовом пении и любитель никудышный: слово „синкопа“ усваивал долго и запомнил по рифме. Не помню названий тех бесчисленных песен, что она пела, кроме одного - оно в заголовке. Помню новенькую гэдээровскую пластинку, дорогую, за три рубля, с ее большой фотографией в профиль над микрофоном - ну и корова! Пластинку эту потом заслушали до хрипа, и умирать не хотелось. На какой-то песне, из классики двадцатых годов, а сама она была с восемнадцатого, но это все чепуха и неправда, Элла, - ей подпевал и подыгрывал Сачмо, тоже бессмертный хрипун с порванными в лохмотья губами. Большой был энтузиаст.

Ну что вам - про эпоху рассказывать? Мы же хоть в одно время, но в разных мирах. Про поэта-собаку Грибачева и его выступление в Кокинском сельскохозяйственном техникуме Брянской области? Тоже сообразил, где разделывать буржуазную псевдокультуру. А мне шестнадцать, и девушки не любят, и кругом снега, и меня первый раз в жизни напоили до свинячьего крику (первач под Есенина - страшная штука), и Володя Замыцкий, сокурсник по зоотехнике, но уже отслуживший, выпиливая меня из сугроба, ругается: „От явреи!“ Он был белорус, не то поляк, и научил меня смешной поговорке: „Нет сики без пердики, як веселля без музыки“. Музы́ки - с ударением на Ы.

Поль Робсон был тоже хорош и добр, особенно когда пел спиричуэлс, но от него отталкивала вонючая советская продажность. Если бы Ку-Клукс-Клан его и впрямь линчевал, как обещала газета „Правда“, многое бы простилось певцу, а так:

Вьетьер мьира колышьет знамьена побьед...

Тьфу!

Джаз, в том числе вокальный, в том числе не первосортный, был освобождением. Про это уже замечательно написал Аксенов, а потом Виктор Славкин во „Взрослой дочери молодого человека“. Поначалу потрясало не столько качество „музыки сытых“ (Горький), сколько импровизация: вроде бы играют и поют кто в лес, кто по дрова, а получается складно, весело,

местами бархатно-чисто, возвышенно... сама свобода приветливо и щедро льется из тромбона и сакса. Потом - бесподобный Дэйв Брубек на рояле, разумеется - Эллингтон с ансамблем, могу назвать и еще полтора-два десятка, но невпопад, да и неважно все это, личная перистальтика, а то, что к свободе приникали через эти черные диски, через эти колеса Фортуны, с которых нам Элла щебечет фальцетом и басом, перемежая шедевры своих голосовых росчерков бесконечными радостными „сэнкью", „мерси", „данке, данке". То есть это не я ей говорю спасибо, а она мне - за то, что послушал, за то, что я есть, чтобы ее слушать, вообще за то, что есть кому, то есть для кого, петь.

Теперь ее с бессрочным абонементом дождались ангелы в раю - боюсь, не лучшая аудитория. Может быть, только по дороге, уже не на Земле, но еще не у Бога за пазухой, где-нибудь в космосе, между Меркурием и Венерой, она даст пролетом - уже дает - два-три лучших своих концерта - черномазая, глазастая, стройная, недосягаемая, как та юная красавица-эфиопка, которую я где-то в 93-м году, не у Виктора Гюго, не так уж я стар, дедушка, а двести лет спустя, на *шуке* Кармель в Тель-Авиве, видел мельком и не увижу уже никогда.

А два года назад в какой-то желтой газетке мелькнуло, что Элла болеет диабетом, что она одинока, что все свои немалые деньги она растратила неведомо на что и теперь тащит сво́и разбухшие телеса к смерти в инвалидной коляске. „Ну, слепая безногая старая кляча? - кричат ей с облака английские трагики Кин и Гаррик. - Пойдем ломать своего Шекспира!"

Хохмы хохмами и свобода свободой, но, выходит, она все эти два года мучилась, не хотела расстаться с нами. Было ли кому подать ей воды, подоткнуть одеяло, вынести золотой горшок? Правильно сказал мне мой Лев, позвонивши сквозь слезы: „Они чего-то там болтали-болтали про выборы, а потом говорят мимоходом - умерла. Лучше б они все передохли, а она пела". Святая правда.

Не помню у кого, кажется, у Свифта, а может быть, у Марка Твена, и еще что-то подобное мелькнуло у Булгакова в сцене бала, но невыразимо по́шло, так что и вспоминать не хочется...

речь о том, что, наверху или внизу, короче, „в той стране, где тишь и благодать", хорошие люди наконец собираются вместе, без посторонних, и каждый радует других тем, что умеет сам: скрипит Паганини, натирает ревматическое колено Швейк, содвигает бокалы Пушкин, Рембо бьет морду Верлену, Иван Сусанин по ошибке заводит в болото Александра Матросова, седой как лунь Альберт Швейцер в кругу исцелившихся наконец прокаженных негров танцует под луной над Ламбарене, Иисус Христос снова и снова прощает блудницу, царь Соломон строит Третий храм из белого рафинада, сутулый жердяк Борис Чичибабин еще привыкает, но уже по-прежнему смотрит зорко, ну и Элла - куда ж мы без Эллы! - выдает на бис „Мэкки-нож" и „Как высоко луна". Невольно поднимешь глаза к небу - луна. Невольно вскрикнешь от входящего в сердце ножа. А все остальное - вольная воля.

ЭХО ЕХУ

Я не пью горячий кофе. Я только требую, чтобы мне его подавали горячим. Горячий кофе для всех, включая тех, кто пьет его остывшим, - это и есть демократия.

О небезобидных противоречиях сволочной человеческой натуры мы знаем постольку, поскольку знаем себя. Но чтобы жить успешно, самопознание необязательно - гораздо полезнее хоть немножечко разбираться в действительных побуждениях окружающих. Наука побеждать состоит в умении отличать подлинные желания от показных: между прочим, в этом заключается и тайна триумфальных альковных побед поручика Ржевского.

С такой точки зрения занятно взглянуть на какую-нибудь из самых популярных книг в истории всемирного буквописания. Не имея под рукой „Гамлета", возьмем „Робинзона Крузо", которого помним чуть лучше.

Там самое интересное место, когда Робинзон обнаруживает на берегу след босой человеческой ноги. Вспомним ситуацию: герой провел на своем необитаемом острове чертову уйму лет в сомнительном обществе пса, коз и попугая (и, между прочим,

без женщины или женщин; о последних Дефо, как профессионал экстракласса, написал отдельную высокохудожественную книгу, она называется „Молль Флендерс“ и служит отличным средством полового воспитания). Так вот, казалось бы, этот след должен привести „бедного Робина Крузо“, как называл его попугай, в безусловный восторг. Ничего подобного - герой стоит столбом, „как громом пораженный“, потом, проверяя целость своего рассудка, убеждается, что след действительно оставлен другим человеком, а затем бросается домой укреплять ограду и приводить в порядок оружие. „Страх, - пишет он, - вытеснил из моей души всякую надежду на Бога“.

Могут сказать: но ведь этот след предвещает появление дикарей - вероятных людоедов и почти наверное, как пишет глубокомысленный Каркай Икс Сибино, представителей пра-логического сознания. А с ними у цивилизованного христианина разговор может быть только на языке пороха.

Вопрос: как вел бы себя Робинзон, если бы увидел след современного ему башмака или забытую на песке шляпу? Боюсь, что и в этом случае он не побежал бы срывать орхидеи или забивать козу для торжественного банкета. Ибо представители логического сознания вполне могли оказаться испанцами, голландцами или французами, с которыми вечно воевала добрая старая Англия, и возникал риск, что они пристрелят его как подданного враждебной короны. И еще проще: такие люди запросто могли принять его самого за дикаря, а порох у них наверняка был бы посвежее.

Заметим, что все эти сложности возникли перед Робинзоном в лабораторно-чистой ситуации. За его окном не грохотали днем и ночью машины, в соседней комнате не бесновались горячо любимые дети и необходимость внести очередной банковский платеж не мутила его слабеющий ум.

Я думаю, что пресловутый след безумно обрадовал бы Робинзона, попадись он ему где-нибудь через недельку-две после кораблекрушения. Но поскольку прошли годы (а перед тем, не забудем, он уже побывал невольником у берберов и сам продал дружка в рабство благородному португальцу), парень имел досуг хорошенько подумать: так ли уж это прекрасно - встретить себе

подобного? К тому же он успел обзавестись солидным натуральным хозяйством и построил вокруг него сложную систему фортификационных сооружений, а отсюда не так далеко до того состояния духа, когда, услышав слово „культура", немедленно хватаешься за мушкет.

Так что Пятнице еще повезло, что его с Робинзоном пути пересеклись в скучный век раннего Просвещения, а не в какую-нибудь более энергичную эпоху.

И еще пара любопытных казусов.

Судовой врач Лемюэль Гулливер из книги Свифта описал, как известно, четыре своих путешествия - в Лилипутию, в страну великанов Бробдингнег, на остров Лапуту с удивительной его академией, и, наконец, в страну мудрых и добродетельных лошадей - гуигнгнмов, где обитали также еху - люди-скоты, находившиеся у лошадей в рабстве. Каждое путешествие завершалось благополучным возвращением в Англию. И так как к лилипутам и лапутянам просвещенный доктор отнесся несколько свысока, то, покинув пределы их стран, он не счел нужным более говорить о них. Не то в двух других случаях. Вот что рассказывает Гулливер о встрече с родиной после посещения Бробдингнега:

„Наблюдая по дороге ничтожные размеры деревьев, домов, людей и домашнего скота, я все думал, что нахожусь в Лилипутии. Я боялся раздавить встречавшихся на пути прохожих и часто громко кричал, чтобы они посторонились; такая грубость с моей стороны привела к тому, что мне раз или два чуть не раскроили череп... Когда я пришел домой и один из слуг отворил мне двери, я на пороге нагнулся (как гусь под воротами), чтобы не удариться головой о притолоку... На слуг и на одного или двух находившихся в доме друзей я смотрел сверху вниз, как смотрит великан на пигмеев. Я заметил жене, что они, верно, вели слишком экономную жизнь, так как обе вместе с дочерью заморили себя и обратились в ничто. Я упоминаю здесь об этом только для того, чтобы показать, как велика сила привычки и предубеждения".

Но вот Гулливер возвращается из страны лошадей:

„Жена и дети встретили меня с большим удивлением и радостью... но я должен откровенно сознаться, что вид их напол-

нил меня только ненавистью, отвращением и презрением... И мысль, что благодаря соединению с одной из самок еху я стал отцом еще нескольких этих животных, наполняла меня величайшим стыдом и смущением".

И дальше, уже в самом финале книги:

„Мне было бы гораздо легче примириться со всем родом еху, если бы они довольствовались теми пороками и безрассудствами, которыми наделила их природа. Меня ничуть не раздражает вид судейского, карманного вора, полковника, шута, вельможи, игрока, политика, сводника, врача, лжесвидетеля, соблазнителя, стряпчего, предателя и им подобных; существование всех их в порядке вещей. Но когда я вижу кучу уродств и болезней как физических, так и духовных, да в придачу к ним еще гордость, - терпение мое немедленно истощается; я никогда не способен буду понять, как такое животное и такой порок могут сочетаться".

И тут меня, жалкого еху, подбивает спросить: только ли привычкой и предубеждением продиктован последний пассаж?

Занятно, что „Путешествия Гулливера" входят в золотой фонд детской литературы. Еще интересней то, что, насколько мне известно, ни один ребенок, прочитав их, не стал мизантропом. Боюсь, что это свидетельство не столько инстинктивной любви наших детенышей к жизни (что было бы еще понятно), сколько весьма туманных представлений нашего рода о чести и разуме.

АРГЕНТИНСКОЕ ТАНГО МАДОННЫ

Никому в мире не удавалось столько лет кряду добиваться звания самой плохой актрисы года. Мадонна даже не прилагала для этого особых усилий. Приложив их - она сумела во второй раз после 1982-го победить аргентинцев, уже не на спорных Фолклендах, а на природной их территории, сломить недоброжелательную критику в остальном мире и родить пребойкую девочку - будет так же, как мама, звенеть и подпрыгивать...

Я не сомневаюсь, что слава Мадонны-небогородицы давно перекрыла дешевую популярность Орлеанской девы: Жанна,

конечно, терпела зря. Думаю, что даже святая Мария, мадонна католиков, не без опаски поглядывает из райского *Ган-Эдена* на подскоки своей земной тезки и рассчитывает выиграть гонки только потому, что на небесах живут дольше.

Хиллари в Вашингтоне кусает локти от зависти. Раиса Максимовна, в Москве или где там она посиживает, оторвавшись от клочка своих мемуаров, чутко смотрит в лазурную даль. Дворецкий разводит руками перед Маргарет Тэтчер: „Б...и, мэм!" И только Эвита торжествует, танцуя, как Эвридика, среди генеральских теней.

Ева Перон, в девичестве Мария Эва Дуарте (1919 - 1952), законная дочь южноамериканской пампы и незаконная - бедной белошвейки, обшивавшей вшивых степных богачей, уже пятнадцати лет в обществе проезжего гитариста дала деру в Байрес, как называют аргентинцы свою столицу всемирного танго. Ее карьера началась в ночных клубах, перемежаясь вечерними мелодрамами и дневными радиопостановками.

Спала она - у нее на родине это не секрет, а мотив для национальной гордости - не со всеми, кто ее хотел, а исключительно с теми, от кого зависели ее контракты. Альфонсов и антрепренеров постепенно вытеснили бравые офицеры, все время возраставшие в чинах. Запоминала она их по эполетам.

В 1944-м на благотворительном вечере в пользу пострадавших от землетрясения 25-летняя Эва встретила 48-летнего полковника Хуана Перона, высокого смуглого вдовца, улыбчивого военного министра очередной хунты, год назад совершившей очередной переворот.

Перон обожал власть и Муссолини. Эвита обожала толпу и деньги. В ту ночь оба поняли, что обожают друг друга и Аргентину.

Это была хваткая парочка.

Эвита - сама из голодранок - очень хорошо умела брать массы за жабры. При этом они ее тоже обожали - в Южной Америке обожают обожать. Именно Эвиту, а не ту, о ком вы сначала подумали, называли в народе „божественной Мадонной", а еще - „мостом любви" (между массами и Пероном), а еще - „рогом изобилия" и „сеньорой Эсперансой". Тоже Надюха.

В 45-м они тайно повенчались. В 46-м он стал президентом. Теперь они обожали Аргентину по должности и по чину, не замечая в любовном упоении, как проваливается в тартарары сельское хозяйство и растет инфляция. К тому же их банковские счета росли не хуже дореформенной аргентинской пшеницы, а с недовольными успешно разбиралась тайная полиция, где служили инструкторами беглые наци.

Эва Перон по примеру мужа заобожала власть, не обижая обшивавших ее портних. Она была мстительна и хитра, но понимала, что благотворительность смывает следы почти любых преступлений. Частая гостья байресских трущоб, знакомых ей с юности, она создавала фонды своего имени, составленные из пожертвований других олигархов: стоило только пристально и медленно им улыбнуться. На эти деньги она строила школы и больницы и даже первым израильским репатриантам послала в бараки целый корабль одеял.

В 51-м Эвита захотела стать вице-президентом у своего мужа, но ревнивые офицеры решили, что это слишком. Не перенеся вопиющей неблагодарности, она стала чахнуть и через год умерла. Теперь безутешная Аргентина обожала ее еще исступленнее. Мимо гроба с исхудавшим от тоски телом Эвиты прошли сотни тысяч людей. Целых три года национальное радио предваряло вечерние выпуски новостей словами: „Двадцать часов двадцать пять минут - миг, в который наша Эвита ушла в страну вечности".

Надо полагать, что траур продолжался бы ad infinitum - до Патагонии, если бы в 55-м Перону не пришлось срочно оставить дела и эмигрировать в Мадрид. Тело его супруги тоже таинственным образом исчезло и было погребено в Милане под плитой с вымышленным именем.

Но любовь творит чудеса. В 1961 Перон втретьерядь женился - на сей раз на танцовщице Изабелите. Еще через десять лет прах незабвенной Эвиты перевезли на его мадридскую виллу, что чудотворно преобразило судьбу рамолитика экс-диктатора. В 1973 году он а) вернулся на родину, б) снова стал президентом и в) через год помер.

Изабелита, вице-президент, прошла в дамки. О. Генри, где

ты? Она приказала вернуть останки Эвиты домой, после чего и, кажется, вследствие чего армия в 76-м снова устроила переворот. Новая хунта продержалась до 82-го.

Божественная Мадонна сыграла Эвиту в бездарном фильме „Эвита" лучше всех предшественниц и конкуренток. Удивляться не приходится: обе - блондинки, обе амбициозны и самоуверенны, обладают харизмой, упорны в достижении цели. Обе сексуальны и остры на язычок, что высоко ценится взыскательным мужским населением. Обе вышли из низов: они вызывающе антиаристократичны, обожают плебейские зрелища, бокс, роскошь и драгоценности. Обе совершили восхождение на спине и при этом добились пикантного имиджа святых.

Вот что, непристойно причмокивая, рассказывает Мадонна (свистит, конечно): „Я чувствовала, что Эвита вошла в меня и овладевает мной изнутри. Это ощущение стало особенно сильным, когда во время съемок одной из сцен я вышла на балкон, вскинула руки и запела: „Не плачь обо мне, Аргентина..." Я посмотрела на замершую подо мной толпу и почувствовала, что Эвита ворвалась в меня, как ракета... ее грусть и тревога бушевали во мне..."

Если не забывать, что „Эвита" - это еще и мюзикл, в котором поют и танцуют все - и Мадонна, и Перон, и профбоссы, и генералы, и черт его знает кто еще, можно себе представить все отчетливей вырисовывающуюся духовность начала XXI века, который, a-ah, cumparsita, вот-вот на нас упадет.

РОЗА ЕСТЬ РОЗА ЕСТЬ РОЗА...

Горожанин и цветы - тема совершенно девственная, хотя, издерживая на эти быстровянущие создания очень порядочную за годы своей жизни сумму, человек, также будучи сосудом скудельным, мог бы позволить себе знать, за что платит. Селяне, вопреки распространенным представлениям, еще более невинны по части естествознания, за исключением разве что бортников-пчеловодов; вербные „котята", конечно, притягательны, как venes ici, но те пестрые веники, которые киношная крестьянка

ставит в кувшине *бидьюк* посередь кружевной скатерки, перед тем как скромно отдаться заезжему заготовителю шкур, - это такая, я вам скажу, икебана, что за глаза совестно перед самураями.

Первое знакомство малолетнего горожанина с розовотелой Флорой совершается первого сентября, когда мама, скрипя зубами с досады на спекулянток, покупает ему школьный казенный букет. В последнее время завелась и зимняя торговля, когда цветы, обычно тюльпаны, помещают в высокую переносную, обтянутую полиэтиленом птичью клетку со свечным отоплением. В снежные сумерки это выглядит очень красиво и напоминает арбузные летние испуги: помню, срезáли шляпку с курчавым хвостиком, нутро выедали, в коре пробивали напильником треугольные глазки и провальный треугольный же носик, а также продалбливали дуговое хайло. Внутри укреплялась свечка. Весь агрегат подвешивали, как паникадило, на трех суровых нитках и носили враскачку в пыльной темноте ночных улиц. Девчонки визжали на ультразвуке, а беременные, бывало, скидывали не отходя от кассы. Полный шарман, нечаянная радость...

Затем - вторая фаза, эстрадная. Ее флорарий суров и беден, как пролетарский быт.

Ты сегодня мне принес
Не букет из пышных роз,
Не тюльпаны и не лилии.
Мне принес сегодня ты
Эти скромные цветы,
Но они такие милые...

Ландыши действительно милы и трогательны, а с тех пор, как их занесли в Красную книгу, они еще и обрели какую-то одноногую инвалидскую ущербность, так что дарить их приличествует исключительно девушкам в последней стадии чахотки. Колокольчик похож на ландыш под лупой и кажется грубоватой пародией на него. Дамы на той же стадии предпочитают камелии, но как они выглядят, я не знаю, поскольку в Париже не бывал.

Далее следуют пармские фиалки, которые не следует путать с подснежниками и таежно-патриотическими жарка́ми.

Краснознаменная терция: присвоенная большевиками гвоздика, в которой, впрочем, и впрямь что-то есть несгибаемо-злостное; „тюльпан багряный" из венка моего друга Левы Беринского, по поводу которого (разумеется, тюльпана, а не венка и не Левы) мы в двух разных городах лазили в словари на предмет выяснения взаимных функций тычинок и пестика. Оказалось, что это похоже на бесконтактное групповое изнасилование: все на одного! С другой стороны, я стал испытывать к тюльпанам с их перстовидными пестиками личную неприязнь, как вроде бы к активным лесбиянкам.

Ну и, конечно, алые шелковистые, быстро гибнущие в неволе маки, запрещенные к выращиванию на Руси в порядке борьбы с курением опиума.

С маком бывают, во-первых, дули, во-вторых, булки, в-третьих - истории типа КПСС. Один мой знакомый графоман, еще и еврей, выдвинул, истекая лакейским гормоном, интересную классовую гипотезу в рифмах. По его мнению, на полях былых сражений:

Где гады - там только бурьяны,
Где наши - там маки растут.

Местные партботаники, равнодушные, как природа, покровительственно подкивывали, но какой-то заедливый фольклорист высунулся с опровержением:

Лежит под курганом,
Поросшим бурьяном,
Матрос-партизан Железняк.

Еврею дали по рогам. И поделом: не лезь в науку. Заодно по рогам дали фольклористу, который к тому же оказался марколюбом.

Гладиолус - президиумный, помпезный, очень дорогой, наглый, атлетически сложенный цветок из рода клубнелуковичных.

Интеллигентного человека может примирить с ним только то, что происходит он все-таки из семейства касатиковых, как, впрочем, и его близкий родственник - либеральный ирис, куда более квелый, но зато и с более тонким душевным устройством, напоминающий расцветкой и нравом нервного чистокровного сеттера.

Пример из классики:

Флоренция, ты ирис нежный,
По ком томился я один
Любовью длинной, безнадежной...

Ради полноты изложения следует тут назвать харизматические хризантемы, астральные астры, непритязательные флоксы и тугоплечие затылистые пионы и георгины, а из параллельного мира заливных МТС - ромашки и ядовитые лютики, хотя кто их будет есть, кроме глупой козы? Оба эти прелестных цветка попали в одну упряжку благодаря поэтессе Маргарите Агашиной и композитору Григорию Пономаренко и являются непременным атрибутом еврейских застолий в бывшем СССР, Израиле и на Брайтон-бич. Поют о них с нарочито колхозными подвывами, чтобы скрыть за скверной иронией распирающую почти всякого советского еврея Людмилу Зыкину.

Уравновесить этот позор можно двумя экзотическими гостьями нашего клишированного мозга - заморской и заокеанской: одна, вампирка, красочно описана Гербертом Уэллсом в превосходной новелле „Странная орхидея", другая (абсолютно безликая, зато во множестве экземпляров) обитает в парнике моего тезки, знаменитого американского сыщика Ниро Вульфа из романов Р. Стаута.

Что еще можно вытащить из-за пазухи? Безымянный, но чарующий интонационно

Цветок засохший, безуханный,
Забытый в книге вижу я...

Спиртуозно-гусарские применения:

Шампанское - в лилию! В шампанское - лилию!..

Я почему-то при этом вижу усатого путевого обходчика, хлещущего самогон и занюхивающего галошей. Но тут вдруг всплывает из похмельной бочки с рассолом совсем другое:

Я - роза Сарона, лилия долин...

- и это смертельно опасно, ибо сразу легионы ангелов вцепляются в горло, и перехватывает дыхание, как от пахнущих яблоками ноздрей Суламифи.

О розе говорить все равно что о высокой прозе - точно наслеживать грязными сапожищами в свежевымытой горнице. Ей отдано человечеством неимоверное количество крови, воображения и любви. Трудно понять, чем она заслужила это, - наверно, шипами. Война Алой и Белой Роз была, может быть, единственно стóящей из всех войн. Китай, помимо пороха, бумаги и цитатников Мао Цзэдуна, подарил нам желтую и бежевую чайную розу, нежнейший из цветов. Оттенки красных роз - от порочно-багрового, почти черного, до невинно-розового, как прародитель шиповник, перечислить почти невозможно. Дыхание розы благоуханно, стойкость и выживаемость - почти еврейская, стройность газелья или лучших конструкций Фернана Леже... поэзия о ней интернациональна и многотомна. Из русских высшими достижениями считаю есенинское

Тихо розы бегут по полям...

и, уже в наши дни, того же Льва Беринского:

В саду Гефсиманском, где розы
Дворцами пришлись паукам,
Сижу, озираясь, и слезы
Текут по щекам, по рукам...

Что касается искусственных цветов, то, боюсь, один из них перед вами.

Окончание следует.

Давид Таксер

ПРОЩАНИЕ С ВЕКОМ

Уходят последние годы нашего века, века пришедших в мир в первой его четверти. Мы помним еще коммунально-кухонные примусы, заводские гудки, отмеряющие смены, в наших тяжелых снах еще визжат бомбы и снаряды, а в легких - вспоминаются немые черно-белые фильмы под звуки рояля с тапером. Атрибуты новорожденного XX века, прогресс механической тяги опьянили наших руководителей, да что греха таить - и нас тоже, сознанием всевозможности. Если постоянно совершенствуется паровоз, электрическая машина, если уже человек летает, так неужели нельзя сделать его добрее, бескорыстнее. И все, прежде всего руководители, ждали того не от себя, будто у других бытие, которое определяет сознание, было лучшим. Бытие ли определяет сознание или наоборот - спор, соответственный спору о первородстве курицы или яйца. Как бы там ни было, бытие получилось ужасным, сознание напыщенным и жуликоватым, потому верха решили вбить лучшее сознание в массы как гвоздь в дерево. Вбили страх.

Нет нужды определять, у кого из первобольшевиков были чистые намерения – все они люди своего времени, которое всякому в разном количестве примешало, и еще теперь примешивает, корыстный интерес, властолюбие, мстительную злобу, самомнение. И мировое общественное сознание, если такое возможно усреднить, до середины века определялось глаголами: „завоевать“, „отнять“, „заставить“. Так сказать, прошлое человечества вползло в век двадцатый до самой его середины. Кровавые полвека.

Только после ужасов Второй мировой войны передовые, сытые страны перешли на поиски компромиссных решений, но

значительная часть человечества еще и сейчас пребывает в бескомпромиссном прошлом и опасность новой бойни реальна. Может быть, не просто бойни - катаклизма, потому что отставшие сознанием добывают у передовых их ужасные технические достижения.

В духовном смысле, в смысле общечеловеческого сознания мы мало в чем преуспели. Во всяком случае, наше сознание резко отстает от научно-технических достижений, и в этом кроется главная опасность для будущих поколений. В общественно-организационном смысле мы можем записать на свой счет лишь несколько положительных примеров, главным из которых является Нюрнбергский процесс. Несмотря на то, что судьба омрачила его тем, что одна из личностей-архичудовищ нашего века, достойная сидеть в первом ряду обвиняемых, попала в обвинители, - процесс этот стал важным прецедентом обуздания правителей, еще не лишенных своими народами презумпции вседозволенности. Хочется надеяться, что в наступающем веке петля повиснет над головой любого вождя, пренебрегающего правом на жизнь людей и народов, хочется надеяться, что и само это право, международное право, кристаллизуется в четкие параграфы.

Очень хочется предсказать наступающему веку что-нибудь хорошее, но прогресс, столько надежд возбуждавший в прошлом, все явственнее оборачивается опасениями всеобщего Чернобыля, клонирования наряду с племенными овцами человекороботов вместо неповторимых личностей.

Передовая научная мысль Америки, России, Бог весть где еще, уже разрабатывает психотронное оружие - самое гуманное, по словам его разработчиков, которое, не убивая, заставит противника покориться владельцам психотрона. А владельцы будут кто? В мире, где так зыбки границы между добром и злом, где на одного Сахарова с матерью Терезой приходятся полчища злодеев, где любая проститутка может объявить себя Девой Марией и найти сторонников-глупцов, готовых умереть, а любой обиженный природой объявить себя знающим единственную истину и как ее достичь террором - в таком мире всемогущество человека - не всемогущество Бога, Добра, а Зла-Дьявола. Так что еще, может быть, будущим людям беспомощный, мятущийся XX век с его сотней миллионов жертв покажется веком золотым.

Грядущим наш век может показаться золотым и без рукотворного апокалипсиса.

Пятнадцать миллиардов человек за половиной наступающего века с вхождением в общество потребления миллиардных азиатских масс, то есть - не только колоссальное увеличение количества потребляющих, но и увеличение потребления на каждого в соответствии с требованиями того времени. Выдержит ли хрупкое земное равновесие? Даже если достанет ресурсов, не предстоит ли нашим внукам-правнукам утонуть в отходах своей собственной деятельности? Не задохнутся ли в отравленном воздухе? Не сгорят ли под солнцем без озонового зонта?

Есть ли альтернатива? С нашей малой высоты конца XX века видится только одна - РАСПРЕДЕЛЕНИЕ. Кто осуществит эту лимитацию? Какая-такая сверхорганизация? На сознание человечества надежды нет. За всю историю человечество мало в чем преодолело собственные инстинкты, так преодолеет ли за какую-то сотню лет? Какова основа возможной договоренности между государствами по ключевому вопросу лимита на отходы производства и вредные выбросы в атмосферу? Очевидно, что для одних основой будет количество потребителей, для других - традиционные преимущества. Вот в чем опасность будущего военного катаклизма, а не в какой-то войне культур. В единых условиях матери-земли культура человечества в широком понимании этого понятия едина, как горшок по назначению. Разница в украшении горшка несущественна. Никто не вступит в драку из-за того, что одни поют протяжно, другие - как-то иначе, хотя флагом для прикрытия настоящих интересов песня может стать. Еще разница в материале, в методе изготовления. Одни пока на стадии ручной лепки горшков из глины, другие штампуют их на заводе из стали. Эта разница исправима в условиях современных коммуникаций и согласно закону убыстрения бега по проторенной дороге.

Распределение. Но это мы уже проходили. Распределение может быть только силовым и потому не может быть удовлетворительным для подавляющего большинства. Неудовлетворительное для большинства распределение требует вражьего образа для отвлечения зависти. Вражий образ требует... Известно уже, что требует вражий образ, но главное не в этом. Главное, - что распределение есть власть распределителей во всех сферах, включая экономическую и, значит, конец частной ини-

циативы. Рамки наличия средств - денег для частного инициатора как бы от Бога. Сегодня на что-то хватает - завтра свое умение, с Божьей помощью, даст больше, больше... в надежде без конца. Зримые декретные рамки от Правителя, - конец частной инициативе, конец обществу потребления, конец демократии. Вот в преддверии чего услужливая неостановимая наука собирается вооружить правителей возможностью клонирования роботов и психотронным оружием. Как хорошо, что все это еще не наши проблемы!

Однако, может быть и проблемы нет? Может быть все эти страхи - плод неполной умозрительной интерполяции без превышающего ряда? Плод взгляда с малой высоты настоящего времени без учета потаенных возможностей Природы? Был уже один такой счетовод перенаселения, Его Преподобие господин Мальтус. В начале XIX века господин Мальтус обчелся на основе той же интерполяции без превышающего ряда в будущей численности населения, правда, обчелся только в отношении населения стран Европы, Северной Америки. Не рожают там уже по восемь деток на каждую пару. И даже по паре на пару не везде есть. И по продовольствию, опять же, в отношении тех стран. Правда, если разделить все продовольствие на каждую мировую душу, коих уже шесть миллиардов. Так, может, Его Преподобие не так уж и не прав. Всем будет голодно. А так, пока голодно только двум третям. А ты имей сознание - не рожай! Где его взять, сознание? От бытия? Но где же бытие без сознания? Замкнутый круг.

Еще профессиональная рознь, хотя, представляется, что в основном это проблема не будущего, а настоящего. Представляется, что вспышка религиозного фанатизма в конце XX века не более чем реакция относительно небольшой части всемирного общества на очень значительную его секуляризацию. Начиная с эпохи Ренессанса, религиозный фанатизм терял своих сторонников. Пик пришелся на двадцатый век. Если еще в XIX веке, в веке приспособления наиболее гибкой христианской конфессии к новым условиям бытия, население было почти поголовно религиозным, то в двадцатом наблюдается обратное явление. Теперь религиозный фанатизм вынужден замкнуться в своеобразное гетто от соблазнов научно-технического прогресса и демократии. Вряд ли какой бы то ни было железный занавес способен долго не проржаветь.

А мы уходим... Мы отгородились, считая себя людьми нового времени в отличие от отцов и дедов, отягченных веригами своих заблуждений. Наше время состарилось и наступает черед гордиться тем, которые уже среди нас и тем, кто только еще появится в этом бурлящем страстями мире. Мы не можем похвастать, что сделали все, что смогли, а что сделали для добра, чаще всего оборачивалось злом. Иначе не могло и быть, потому что были вольно-невольными служителями Империи зла. Даже наша великая победа над коричневой чумой обернулась чумой красной. Нет, мы не можем похвастать, что сделали все, что смогли. После нас пусть сделают больше. И лучше.

ОБРАЩЕНИЕ
к бывшим харьковчанам

В 1941-43 гг. в Харькове были уничтожены десятки тысяч евреев, большинство – в Дробицком яру (бараки Тракторного завода). В настоящее время известны только 3200 имен. Имена всех погибших будут внесены на стеллу в сооружаемом мемориале «Дробицкий яр». Просим тех, у кого родные и близкие, даже знакомые, убиты во время фашистского геноцида в Харькове, сообщить о них данные: фамилия, имя, отчество, год рождения или возраст, профессия, адрес в то время – или хотя бы часть этих сведений – представителю Комитета «Дробицкий яр» по адресу:

Израиль, 32698 Хайфа, ул. Яд Лебаним, 180/21,
Борису Зильберштейну.

Ни один из погибших не должен быть забыт!

Михаил Копелиович

СУД НАД НАРОДАМИ

Нужно научиться не льстить
никому, даже народу.
Стендаль

„Суд народов" – так называлась документальная кинолента Романа Кармена, посвященная Нюрнбергскому процессу над главными нацистами (1945-1946). На скамье подсудимых оказались не только два десятка людей, санкционировавших величайшие преступления XX века, но и ряд о р г а н и з а ц и й, также признанных преступными (гестапо, СС, СД и руководящий состав нацистской партии). На процессе, в частности, шла речь о неслыханных масштабах уничтожения людей, и американский обвинитель Р. Джексон в своей заключительной речи счел возможным на этом основании обвинить... всю нашу эпоху: „Никогда в течение полустолетия не происходило такого количества кровавых убийств и в таком масштабе..." Но для такого количества кровавых убийств и в таком масштабе должно было существовать эквивалентное количество и с п о л н и т е л е й. Из кого же рекрутировались эти кадры?

Обратимся к собственному (т.е. советскому) историческому наследию. ГУЛАГ. Мы всё больше интересовались количеством сидевших, обреченных непосильному труду, умерщвлявшихся. Нам казалось: они – народ. Что ж, это было так. Ведь и нацисты начали со своих: в Бухенвальде обретались немецкие антифашисты. Но, чтобы содержать (и отправлять на тот свет, и „утилизировать" останки) такое количество людей, необходимы были – и тоже в достаточном количестве – охранники и палачи. И бух-

галтерия. И прорабы (так называемые „вольнонаемные"). А чиновники, курирующие все это хозяйство? А строители и архитекторы? Сложите. Получится „еще один" народ.

...Когда в „Правде" (?) впервые появилась глава „Друг детства" из писавшейся Твардовским поэмы „За далью – даль" (1950-1960), читатели поразились невероятной смелости этой вещи. (Не забудем, „Один день Ивана Денисовича" А. Солженицына, опубликованный тем же Твардовским в его „Новом мире", был еще впереди.) Главный герой главы – бывший политзэк, выживший вопреки ожиданиям рассказчика.

Кого я в памяти обычной,
Среди иных потерь своих,
Как за чертою пограничной,
Держал...

После встречи с воскресшим другом рассказчик размышляет о его судьбе.

Я знал: вседневно и всечасно*
Его любовь была верна.
Винить в беде своей безгласной
Страну?
При чем же здесь страна!

Он жил ее мечтой высокой,
Он вместе с ней глядел вперед.**
Винить в своей судьбе жестокой
Народ?
Какой же тут народ!..

Это рассказчик рассуждает за „друга детства". Впрочем, отнюдь не исключено, что и сам пострадавший мыслил сходным образом (я таких встречал).

Итак, страна ни при чем. Вопрос о вине народа заведомо

---

* То есть и за затворами тюрьмы!

** А что он мог видеть впереди? Колючку? Сторожевые вышки?

нелеп. Кто же виноват? А никто! Совсем никто! Ни партия, ни ее верхушка, ни даже сам диктатор. Просто нечистый попутал. Да, но кого? От вопроса все равно не уйти.

Спустя еще десятилетие поэт пришел к иным выводам:

Клеймо с рожденья отмечало
Младенца вражеских кровей.
И все, казалось, не хватало
С т р а н е* клейменых сыновей.
. . . . . .
Нет, ты вовеки не гадала
В судьбе своей, отчизна-мать,
Собрать под небом Магадана
Своих сынов такую рать.
Не знала,
Где всему начало,
Когда успела воспитать
Всех, что за проволокой держала,
За з о н о й** той, родная мать...

Тут (в поэме „По праву памяти“) уже не недоуменное возмущение, а горький сарказм. И все же, все же...

Рукоплещи всем приговорам,
Каких постигнуть не дано.
Оклевещи н а р о д, с которым
В изгнанье брошен заодно.

Народ все еще – жертва. Но к кому обращены все эти „оклевещи“, „отринь“, „не прекословь“, „предай“, „лжесвидетельствуй“, „зверствуй“ (прямо антиНагорная проповедь какая-то!)? Не к тому же ли народу?

Наиболее значительна в поэме „По праву памяти“ концовка ее второй главы, иронически названной „Сын за отца не отвечает“:

---

* Здесь и далее, за исключением особо оговоренных случаев, разрядка в цитатах везде моя. – М.К.

** Разрядка авторская.

Давно отцами стали дети,
Но за всеобщего отца
Мы оказались в с е в ответе,
И длится с у д десятилетий,
И не видать еще конца.

Слово сказано. И слово это – „суд". Над кем? Над „всеми". То есть над... народом, не так ли? Что и требовалось доказать.

Другой поэт, откликнувшийся на смерть Твардовского (1971) стихотворением его памяти (за которое вылетел из Союза писателей), пошел еще дальше: понятие „народ" дано у него, так сказать, в динамике. Когда умирали поэты (в прошлом), „народ над миром поднимал их / и бережно, и высоко". Ну, а в наши дни как?

И если жив еще народ,
то почему его не слышно
и почему во лжи облыжной
молчит, дерьма набравши в рот?
Б. Чичибабин

Как говорится, и суд произведен, и приговор вынесен...

Стоит ли пояснять, что речь у нас идет все время о суде моральном и приговоре условном. Никаких аксессуаров подлинного судопроизводства нет в помине. Ни судейского стола, ни скамьи подсудимых, ни охранников-конвоиров.

Тем не менее – суд.

Но, может быть, и моральный суд над народом неправомерен? Это зависит от того, как мы определим само понятие „народ".

Для начала заглянем в словари.

Толковый словарь под редакцией проф. Д.Н. Ушакова, 1938:

1. Жители страны. 2. То же, что нация, национальность. 3. В эксплоататорском государстве (sic!) – основная масса населения в противоположность правящему, господствующему классу. И цитатка подходящая: „Буржуазия обманывает народ всякими „позитивными" национальными программами" (Ленин).

Советский энциклопедический словарь, главный редактор А.М. Прохоров, 1983:

1. Все население определенной страны*. 2. Народные массы, включающие на различных этапах истории те классы и слои, которые по своему объективному положению способны участвовать в решении задач прогрессивного развития общества, главным образом трудящиеся массы; творец истории, ведущая сила коренных общественных преобразований.

Так что же такое народ: население или творец истории? Ясно же, что население – это механическое соединение обывателей (жителей страны, что то же), с которых бессмысленно спрашивать за народ. Каждый – сам за себя. Сам за себя решает. И отвечать тоже должен только за свои поступки.

Иное дело – творец истории, классы и слои, которые по своему объективному (слышите – объективному!) положению с п о с о б н ы у ч а с т в о в а т ь...

Вот они и участвуют. И глубоко ошибается тот, кто считает их участие „в решении задач прогрессивного развития общества" пассивным. Мы приходим к антиномии: герой (вождь) – масса (народ). Николько не умаляя заслуги вождей (героев), я все же, вслед за марксистами (к сонму которых во в с е х других отношениях себя не причисляю), пальму первенства в решении общественных задач отдаю народу – о с н о в н о й, как правильно определяет словарь, массе населения страны.

Опять же, не знаю, какой смысл вложили авторы в прилагательное „основной". То ли это количественная характеристика, то ли качественная. То ли и то, и другое. В дальнейшем изложении я намерен исходить из собственных дефиниций.

Н а р о д. 1. Культурно-этническая общность людей, складывавшаяся в течение достаточно длительного времени (измеряемого столетиями), сохранившая свой национальный язык, верования и обычаи, пережившая в своей истории (понимаемой просто как совокупность разного рода событий, в той или иной степени затрагивавших всю общность) хотя бы одно (лучше – более одного) нерутинное, судьбоносное для данной общности Событие, благодаря которому она оставила заметный след в

---

* Для смеха – из „Ракового корпуса" Солженицына: „Русановы любили народ – свой великий народ, и служили этому народу, и готовы были жизнь отдать за народ. Но с годами они все больше терпеть не могли – населения".

истории общемировой (или хотя бы континентальной). 2. Некая достаточно монолитная – хотя бы периодически – сила, способная спровоцировать и произвести существенные сдвиги в истории, не важно, послужила ли первотолчком к соответствующей кон-центрации массовых усилий чья-то индивидуальная воля, либо она (концентрация силы) сложилась спонтанно, „самопроизвольно". 3. Почва, в которой – и только в ней – коренятся и произрастают все живые элементы того, что принято называть культурой данной общности и что дает ей право на вход в мировое (или хотя бы континентальное) сообщество.

Если так определить понятие „народ", можно смело утверждать, что никакой вождь не появится, покуда он не будет востребован своим народом. То есть на свет-то он, может (скорей всего), и появится (и даже „веер" вождей), но при отсутствии ясно выраженной народной воли не пРоявится. Наполеону повезло в молодости (30 лет), Гитлеру и Сталину – в зрелом возрасте (40 с небольшим), Пиночету – в довольно пожилом (58). А некоему N или X вообще не повезло: лично он был готов к роли вождя, но, как говорится, не вовремя родился.

Пушкин, „История Пугачевского бунта", концовка первой главы:

„Все предвещало новый мятеж. Недоставало предводителя. Предводитель сыскался".

Итак, сперва концентрация м а с с о в ы х усилий и только после этого и вследствие этого – появление вождя.

Подобные одномоментные (с точки зрения истории) сгущения массовой воли и инициативы, приводившие к внезапному (на посторонний взгляд) сплочению народа и его воздействию на ход мировой истории (кратно- или долговременному, позитивному или негативному), покойный Л.Н. Гумилев называл вспышками его „пассионарности". Наличие таких вспышек (хотя бы одной) есть атрибут общности, именуемой народом, и знак отличия данного народа в мировой семье народов.

Если взять только наш, двадцатый век и только один континент – Евразию, то вот какие вспышки пассионарности мы можем обозначить:

1. Россия-Советский Союз (февраль 1917-май 1945).
2. Германия (февраль 1933-май 1945).
3. Израиль (май 1948-октябрь 1973).
4. Китай (октябрь 1949-1976).

Первые даты каждого „номера" в пояснениях не нуждаются, а вторые поясню. Май 1945 – окончание Второй мировой войны, для СССР победоносное, но ставшее началом заката большевизма, для Германии разгромное, но послужившее исходным пунктом ее последующего обновления и процветания. Октябрь 1976 – месяц (на самом деле еще меньше: с 6 по 24 октября) Войны Судного дня, для Израиля победоносной, но... 1976 – год смерти Мао Цзэдуна (месяц не помню).

Всякий, кто утверждает, что все эти пики национального возрождения соответствующих народов, включая революции, войны (как с внешним врагом, так и гражданские), массовый энтузиазм и массовые репрессии, суть лишь случайное стечение обстоятельств (не важно, благоприятных или нет), обманывает либо себя, либо других. Всякий, кто Холокост выводит из бредовых идей Гитлера, обманывает либо себя, либо других. Всякий, кто всю ответственность за Большой Террор в СССР возлагает на Сталина (или ему же приписывает лавры победы во Второй мировой войне), обманывает либо себя, либо других. И т.д. и т.п.

Да, и Гитлер, и Сталин, и Мао, и Бен-Гурион оказались подходящими лидерами своих народов* в надлежащий период их, народов, истории. Когда все предвещает новую вспышку пассионарности, когда туча вот-вот прольется ливнем (не важно, благодатным или бедственным), предводитель сыщется непременно. Но еще раз: с п е р в а готовность народа к очередной (или первой, или единственной) вспышке пассионарности, з а т е м появление вождя. Так, и только так!

Еще один критерий своевременности появления того или иного вождя есть сравнительная д о л г овременность его пребывания во главе своего народа, ч т о б ы о н с э т и м н а р о д о м н и в ы т в о р я л.

Стоит ли приводить конкретные примеры? Они у всех на памяти.

Но от одного примера все же не откажусь. Потому что он – о б щ и й для разных народов, как испытавших пик пассионарности, так и „примазавшихся". Отношение к евреям. Нацистская

---

* В случае Сталина я имею в виду народ с о в е т с к и й. И хочу подчеркнуть, что это – имя с у щ е с т в и т е л ь н о е.

Германия организовала и возглавила крестовый поход против евреев в 30-40-х годах нашего столетия. Да, н а ц и с т с к а я. Но „Майн Кампф" Гитлера была обязательным чтением в этой Германии (как „Краткий курс истории ВКП(б)" – в Советском Союзе), и ни один ее гражданин не имел права оправдываться тем, что ее не прочитал. (Я уж не говорю о том, что Гитлер не посмел бы опубликовать свое кредо, не будучи уверен в благосклонном приеме соотечественников.) Стало быть, хотя и нацистская, но Г е р м а н и я организовала и возглавила крестовый поход против евреев.

А как проявили себя в этом д е л е ее союзники? Тут начинается самое интересное. П о - р а з н о м у! Болгария, Венгрия, Испания, Финляндия своих евреев защищали. Муссолиниевская Италия всячески тормозила введение у себя антиеврейского законодательства. Зато Румыния и Словакия энтузиастически осуществляли у себя программу „юденфрай". Может быть, вожди виноваты? Допустим. Но болгары, испанцы, финны, с одной стороны, румыны и словаки – с другой, терпели (или поддерживали, что, в сущности, то же) своих вождей до самого конца. А Венгрию и Италию в конце концов изнасиловал их патрон. И Салаши, венгерский фашист, пришедший к власти лишь в 1944 году, зверствовал недолго. А Муссолини после первых военных поражений Италии растерялся, перестал пыжиться своей самостоятельностью и фашистским первородством и во всем слушался Гитлера; в 1942-1944 гг. он был уже не вождем, а тряпичной куклой.

Ни один вождь не способен сколько-нибудь длительное время проводить политику, неугодную его народу. Спросят: а Сталин? – А что Сталин? Не считая последних нескольких лет его правления, когда, кажется, он и впрямь впал в маразм (и в конце концов рухнул; да еще и не с посторонней ли помощью?), он действовал расчетливо и благоразумно, сочетая меры карательные (население, конечно, трепетало, а н а р о д в массе своей одобрял) и ласкательные (подкуп верхушки: партийной, рабочего класса, колхозного крестьянства, советской „интеллигенции", а для простого народа – дешевая водка и регулярное снижение цен на некоторые другие товары). И народ терпел (поддерживал!).

Само собой разумеется, когда Гитлер становится фюрером, а Сталин – отцом народов, они правят твердой рукой. О н и

решают. О н и подписывают приказы. С н и х и спрос соответственный. (Увы, и тот, и другой избежали заслуженной кары.) Но они знают, что их решения будут проводиться в жизнь и их приказы – выполняться народом, который их, вождей, призвал в судьбоносный час своей истории.

Итак, на вопрос: кто виновен в Холокосте и гибели миллионов европейских евреев? – я отвечаю: и те, кто вынашивал этот злодейский замысел в тиши своих кабинетов (куда их посадил кто?..), и те, кто осуществлял его – не важно, с охотой или без. Конкретные люди несут ответственность за свои конкретные поступки, не имею морального права ссылаться на разного рода присяги. Народ же несет ответственность за то, что привел к власти злодея (-ев), за то, что терпел (поддерживал) его (их) в течение длительного времени, за то, что выполнял его (их) приказы и предписания. Народ – подсуден. Освобождать народ от ответственности за все, что делается его руками, – вредно для самого народа, ибо приучает его к мысли о собственной невменяемости. Но это также разрушает и л и ч н у ю мораль, что еще опаснее.

Благо народа – отговорка демагогов. Вина народов – реальная вещь. Суд н а р о д о в над преступными лицами – фуфло: судят – судьи. Суд личности н а д народами и оправдан, и необходим. Кто отказывает личности в этом ее праве, тот пусть не обижается, когда его назовут сторонником человеческих жертвоприношений.

1998, май

В последнее время журнал поддержали пожертвованиями следующие лица:

Айнбиндер А. (Хайфа) – 30 шек.
Клейман М. (Ришон ле-Цион) – 80 шек.
проф. Любич Ю. (Хайфа) – 80 шек.
д-р Мучник Г. (Хайфа) – 30 шек.
Менджерицкий Э. (Иерусалим) – 30 шек.
Сандигурский М. (Беэр-Шева) – 50 шек.
Вильдгрубе Г. (США) – 20 долл.

Редколлегия выражает глубокую благодарность преданным друзьям журнала.

Александр Воронель

«ПАСИТЕСЬ, МИРНЫЕ НАРОДЫ...»

Вопрос о подсудности народов, который многим бывшим советским гражданам казалось так легко решать в отношении Германии, вызывает теперь замешательство при детальном обсуждении недавней истории России. В самом деле, масштабы открывшихся преступлений советской власти во всяком случае не уступают нацистским, а поскольку их направленность за 70 лет несколько раз менялась, почти все социальные и этнические группы бывшего СССР успели, хоть в какой-нибудь степени, оказаться замешанными.

Вопрос этот легче – не решить, конечно, но обсудить, – рассматривая одно из наиболее тяжких и вместе с тем наиболее общепринятое, можно сказать наиболее объяснимое, преступление против человечности – разжигание войн.

В статье, помещенной в этом номере, А. Кустарев в обычной своей чрезвычайно непринужденной манере высказывает очень нетривиальную мысль о том, что склонность к войне, как к „продолжению политики иными средствами" не есть, вообще говоря, общечеловеческая тенденция. Она якобы характерна лишь для определенных элитных социальных групп в составе цивилизованных обществ. Конкретно, в начале этого века военное решение конфликтов, по-видимому, казалось наиболее приемлемым только реликтовой феодально-аристократической верхушке обеих, Российской и Германской, империй:

„Дело не только в характере политического строя... Еще важнее культурное влияние разных социальных групп в обществе. Буржуазия, став уже фактически господствующим классом в Европе, делегировала однако функцию государственной поли-

тики старому классу... Стремление к территориальной экспансии у старого класса в культурном плане связано с традицией землевладения... И это укрепляет представление о войне как о нормальном элементе в отношениях между странами.... Дело, конечно, не только в „культуре" старых классов, но и в их реальных интересах... В высшей степени характерно, что нации и их лидеры – национальная буржуазия – вели себя в XX столетии как средневековые феодальные сеньеры. Можно сказать, что война при капитализме – это пережиток феодализма...".

Эту точку зрения, может быть, и можно было бы считать обоснованной, если бы мы вместе с оригиналом Кустаревым помнили только о Первой мировой войне, в которой вопрос о виновниках казался столь непростым. Действительно, война тогда, как будто, не казалась неизбежной, и во всех странах-участницах правящую дипломатическую и военную элиту составляли бывшие аристократы, для которых война как бы была наследственной профессией. Однако в наше время большинство людей старшего поколения слишком хорошо помнят Вторую мировую войну, которая редкую семью в России оставила незадетой. Национальные лидеры во Второй мировой, и с Германской, и с Советской стороны, не были не то что аристократами, но даже и буржуазией. Они были босяки. И все же они планировали войну увлеченно и целенаправленно (см. ниже статью А. Эпштейна) без всякой, впрочем, оглядки на феодализм и его отжившие ценности.

Кустарев далее делает предположение, что в наше время наследниками лихих феодальных сеньеров становятся правящие „региональные или национальные элиты бюрократического происхождения": „Старые классы теперь в самом деле ушли в прошлое. Не найдется ли им наследник?.. Похоже, наследник находится. Это региональные или местные этнические элиты бюрократического происхождения. Они борются между собой... Этнические бюрократии не располагают деньгами, но располагают людьми. Они экономически некомпетентны. Они идентифицируют себя через территорию".

Можно бы, конечно, с известной натяжкой назвать советскую правящую элиту перед Второй мировой войной (так же как и нацистскую) бюрократической. Однако, более конструктивно заметить, что наиболее воинственной эта элита была как раз до того времени, как она окончательно обосновалась и погрязла в бюрократизме. И тогда приходит на ум, что, пожалуй, как бы

ни были некомпетентны региональные бюрократии, все же их основной интерес состоит именно в том, чтобы оставаться у власти, а не подвергать себя риску лишиться своего положения и „территорий" в войне, исход которой решается совсем не ими, не бюрократами. Да война, ведь, и вообще любую бюрократию отодвигает на задний план.

Уж конечно не бюрократы так упорно воюют в Чечне или в Боснии. И даже Палестинская администрация, каковы бы ни были реальные взгляды составляющих ее лиц, ровно в той мере, в какой они уже могут быть названы бюрократией, все же, несомненно, заинтересованы продолжать присваивать международные средства, щедро выделяемые им на мирный процесс, а не разрушить в одночасье эту кормушку.

Эти примеры, столь актуальные в наше время, позволяют совсем по-новому взглянуть на современную проблему войны и мира, а может быть и на движущие пружины истории вообще. Войну, по-видимому, разжигают совсем другие люди.

Бросается в глаза, что правящие элиты демократических стран (бюрократические они или нет) заинтересованы сегодня в сохранении мира любой ценой (конечно, не из-за своего пацифизма), а добровольческие, отнюдь не бюрократические, радикальные группы на всех (и, особенно, неблагополучных) территориях, которым нечего терять, кроме пособий по безработице, готовы на смертельный риск и длительное напряжение, чтобы со временем превратиться в правящие элиты своих простодушных народов.

Английское правительство сбивается с ног в надежде приостановить кровопролитие в Северной Ирландии, а лидеры террористических организаций, например Джерри Адамс, безмятежно спокойны. Им не приходится опасаться, что избиратели их не захотят. Министерские посты в будущем ирландском правительстве им уже обеспечены до выборов.

А если выборы будут не в их пользу? – Что ж, тем хуже для избирателей, война будет продолжаться до победного конца. Т.е. война будет продолжаться до такого решения проблемы, которое именно они, а не кто-нибудь другой (хотя бы и любимый избирателями) сочтут справедливым. Число же убитых (фактически случайных прохожих) в ходе этого „мирного" процесса (сейчас и в будущем, протестантов или католиков) вряд ли скажется на их политической карьере. Никто не сможет назвать таких

лидеров бюрократами. Но в известном смысле их можно назвать революционерами...

Кстати, так же обстояло дело и перед началом Второй мировой войны, когда демократические правительства Англии и Франции готовы были буквально на все (включая и прямое предательство), чтобы избежать войны, а недавно утвердившиеся (и еще поэтому не столь бюрократические) элиты – российская, германская и итальянская – неуклонно и бесстрашно готовили войну, которая была призвана оправдать и укрепить их все еще недостаточно прочное положение во главе захваченных ими стран. Советское правительство тогда ведь еще состояло из бывших революционеров, и верхушка нацистской партии характеризовала себя точно таким же образом.

Правящие элиты почти всех арабских стран состоят сегодня из „революционеров", т.е. людей, захвативших власть сравнительно недавно разными силовыми методами и склонных к военным действиям по тем или иным поводам. Те из них, что пришли к власти более легитимным путем (например, Иорданский или Марокканский король) более других склонны к мирному разрешению конфликтов.

Таким образом мы приходим совсем к другому представлению о действующих в обществе силах, толкающих народы к войне. Практика XX века, вопреки убедительным теориям социологов, настойчиво подсказывает весьма скептический взгляд на якобы определяющую роль не только „производительных сил и производственных отношений", но и „классов" и „интересов" в истории вообще. Гораздо более значимыми в наше время зачастую выглядят борьба „характеров", спонтанно сложившихся клик и их локальных „культур".

Конечно, это не значит, что разные там „классовые интересы" никак себя не проявляют. Но по мере роста всеобщей сытости мы ясно видим, как острота классовых, национальных (и всяких иных социальных) противоречий снижается до уровня, на котором личные страсти и групповые лояльности начинают весить куда больше. И тогда сами эти „классовые" или „национальные" интересы начинают служить страстям и лицам (или группам) только поводом для достижения их собственных целей... В какой-то степени и всегда так было.

Собственно, сами народы, как правило, столь смутно сознают свои интересы, что их воля играет глубоко второстепенную роль

во всех реальных событиях. Да у них никто и не спрашивает. Народная воля даже в самых демократических странах есть в значительной степени вещь в себе. Но во всех обществах существуют представительные группы, которые охотно берут на себя смелость (и ответственность!) выступать от имени народа. Как правило, они берут на себя эту роль самозванно.

Никто не уполномочивал в России Радищева или, позднее, декабристов вступаться за народ. Еще меньше полномочий было у известной организации с громким названием „Народная Воля". Как скромно написал в своих воспоминаниях Михаил Гоц, „бывший душою этой организации", а затем и одним из основателей „народной" же партии эсеров:

„...Мне всегда было неловко с народом, я не умел говорить с ним и приспособляться к его взглядам..."

Их впечатляющие, однако, выступления надоумили, в конце концов, и царскую администрацию тоже выступить от имени народа с программой „Православия, Самодержавия и Народности" – с равными основаниями, хотя и с далеко превосходящими возможностями. Когда эти их возможности были окончательно подорваны неудачными войнами и коррупцией, очередная самозванная группа „рабочих и солдатских депутатов" (в основном, большевиков) захватила государственную власть.

Таких групповых самозванных претендентов на власть в России в то время было несколько. Но другие группы, и в частности эсеры (см. выше признание их основателя), не сумели проявить такой волчьей хватки. Их организации не имели такой армейской структуры. Их сторонники не были в такой степени готовы на все. Их лидеры были слишком разборчивы... Или недостаточно талантливы... В общем, им не повезло.

Вопрос о власти решался вовсе не поддержкой классов и интересами масс, а самоуверенностью вождей и способностью их сплотить вокруг себя компактную группу безусловных сторонников. Немногие из большевиков, конечно, были рабочими или солдатами, но все они были готовы рисковать головой, своей и чужой, чтобы следовать бредовым директивам своей партии, т.е. перекроить все основы общественной жизни в духе своей мафиозной групповой культуры, сложившейся за годы подпольной борьбы.

Здесь кажется весьма уместной идея Льва Гумилева о консорциях – сплоченных группах пассионарных индивидов. Такая

группа, утверждающая новый стиль поведения в обществе, превращается порой в потенциальный зародыш нового этноса: „Формирование нового этноса зачинается непреоборимым внутренним стремлением к целенаправленной деятельности, всегда связанной с изменением окружения, общественного или природного, причем достижение намеченной цели, часто иллюзорной или губительной, представляется самому субъекту ценнее даже собственной жизни... Начав действовать, такие люди вступают в исторический процесс, сцементированные избранной ими целью и исторической судьбой. Такая группа может стать разбойничьей бандой викингов, религиозной сектой мормонов, орденом тамплиеров, буддийской общиной монахов, школой импрессионистов... Чтобы войти в новый этнос в момент становления, человеку нужно деклассироваться по отношению к старому. Именно так зарождались: на Семи холмах волчье племя квиритов, ставших потом римлянами, конфессиональные общины ранних христиан и мусульман, „люди длинной воли", составившие ядро монголов и т.д. ..."*

Это процесс природный и сам факт возникновения таких пассионариев (и их групп) не зависит от окружающего общества и его культуры, но цели и формы их суперактивности, конечно, определяются культурным и моральным состоянием их окружения и исторически сложившейся обстановкой.

Одних суперактивность захватывает, а другим претит. Пассионарии преуспевают, если им удается не только поразить воображение окружающих, но и в чем-то, как-то заразить их своей страстью. Народ, конечно, выбирает кем восхищаться и кого презирать. Но эта ответственность сводится только к тому, какие элементы своей культуры, оставленной ему предками, он выбирает для ориентации в текущем моменте.

Конечно, группа импрессионистов вряд ли могла бы стать заметной в стране, где живописи не придавали такого значения, как во Франции. Былая разбойничья доблесть викингов не ценится теперь даже и в Норвегии. Много чего и хорошего, и плохого есть в каждой большой культуре. Но, хотя выбор модуса поведения (например, такой: „...народ безмолвствует...“), характеризующий каждый момент истории, действительно определен на-

---

* Л.Н. Гумилев „Этногенез и биосфера Земли", Ленинград, 1979.

родным вкусом и настроением, само историческое действие целиком лежит на совести отдельных людей.

Трудно утверждать, что это вполне ново для нас. Л. Гумилев приводит якобы различные точки зрения компетентных авторов на образование новых государств в средние века: Н. Аристов: „...вследствие усиления одного из племен, во главе которого стояли храбрые, умные и счастливые в своих предприятиях родоначальники, успевшие подчинить своему влиянию роды своего племени и покорить остальные племена"... Е. Прицак: „Когда в степи появлялся талантливый организатор, он собирал вокруг себя толпу сильных и преданных людей, чтобы с их помощью подчинить свой род, а потом племя... Потом он предпринимал со своими людьми разбойничьи походы. Если они протекали успешно, то следствием было присоединение соседних племен..."** 40 лет назад самому Гумилеву эти картины могли казаться в чем-то разными, но в наше время внимание останавливается прежде всего на том, что это всегда было делом личной инициативы и удачи, т.е. случайности.

Бесчисленные примеры такого развития были нам из истории хорошо известны и раньше (я оставляю за скобками личный опыт детского сада, школы и пионерских лагерей, где каждый мог наблюдать, в принципе, схожие социальные явления в чистом виде без всяких там „производственных отношений").

Но все же вера в объективный процесс истории до самой середины этого века не меркла в сердцах историков и могла бы сравниться только с привычным убеждением в конечной победе сил добра над злом. Эта вера (вместе с упомянутым убеждением) укоренена в основах иудео-христианской цивилизации, в пределах которой мы живем, и ее утрата небезразлична для будущего этой цивилизации.

Настроение интеллектуальных кругов в девятнадцатом и в начале двадцатого века вообще склонялось к поискам объективных закономерностей и основательных причин равно для исторических событий и субатомных движений. Идеи Карла Маркса очень хорошо отвечали этой потребности.

Живя теперь в обществе с кейнсианской экономикой, покупая втридорога какие-нибудь джинсы, поневоле вздохнешь с носталь-

---

** Л.Н. Гумилев „Древние тюрки", Москва, 1993.

гическим чувством по мило-объективной теории стоимости или представлению об историческом процессе как воплощению прогрессивной поступи производительных сил.

Хорошо было теоретизировать, когда понятие всеобщего прогресса еще не было отменено! Правда, всегда было неясно, какие-такие производительные силы открылись у диких орд, заполонивших Европу в пору падения Римской империи. Воинственные варвары потому и были воинственны, что не умели толком даже себя прокормить, понимали грабеж как основную форму производственных отношений и буквально во всем зависели от побежденных. Но то была древняя история...

Концепция объективной поступи истории (историцизм) была в середине века сильно поколеблена в Европе и практически, возникновением Гитлера, и философски, критикой Карла Поппера. Но для нас – российских выходцев – история сложилась наредкость удачно: Россия победила Германию, СССР развалился под грузом своих грехов, Израиль принял всех угнетенных евреев и неевреев. Не означает ли это, что законы истории все-таки существуют и мир движется в „правильном" направлении? Впрочем, если все же допустить, что эти законы существуют, откуда взялась уверенность, что они одни и те же для разных стран, разных народов и разных времен? Ведь речь идет о человеческом поведении, которое несомненно диктуется субъективными факторами. Никакая объективная причина не толкала нацистов к уничтожению евреев. Никакой объективной причины не было у правительства Аргентины затевать войну с Англией из-за пустых Фолклэндских островов. Никакой объективной причины не существовало для войны СССР в Афганистане.

Существует ли в этом безбожном мире реальная причина для вражды католиков и протестантов? Если – да, то почему только в Северной Ирландии? В Германии и Швейцарии они, как будто, мирно сосуществуют. И, если это связано с разницей в уровне жизни, как может в этом помочь террор? Станут ли ирландцы жить лучше, когда уйдут англичане и оставят им возможность беспрепятственно друг друга убивать? Почему несколько веков жизни в непосредственной близости к родине демократии не навели ирландцев на мысль, что они, возможно, жили бы лучше, если бы проявили некоторую склонность к компромиссу? Напротив, по-видимому, именно эта склонность у англичан есть одна из причин для ненависти к ним.

В странах с неустановившейся демократической традицией и, особенно, в периоды неразберихи, смут и катастроф, чаще других побеждают агрессивные, наиболее беззастенчивые клики.

Если им везет, как повезло в России большевикам, они составляют новую элиту и навязывают свой групповой этос всему государству. Если их стесняют в их стране, как это случилось с „Фатахом" в Иордании и Израиле, они зато могут составить новый, „свободолюбивый" (или „прогрессивный"?) народ, например, палестинцев, и претендовать на отдельное существование, в котором их роль будет, наконец, определена в соответствии с их амбицией и наличной культурой.

Но и в первом, и во втором случае интересы соответствующего государства или представляемого ими „народа" играют глубоко второстепенную, подчиненную роль. (Неслучайно и в том, и в другом случае вожди все время сбивалась на „всемирную" – пролетарскую или антиколониальную – революцию. А вдруг где-нибудь еще пофартит?)

Возникновение таких клик есть процесс естественный, т.е. необходимый, а наличие народа, который якобы ожидает их заступничества, или насущной проблемы, требующей разрешения, напротив, обусловлено исторической случайностью. И характер желаемого решения проблемы также определяется историческим моментом и локальной культурой. Так, группа одержимых последователей Джозефа Смита в начале XIX в. в США вместо того, чтобы начать истребительную религиозную войну, как это обязательно случилось бы веком раньше в Европе, просто отселилась в полупустой штат Юта, положив начало ныне вполне мирной жизни процветающей секты мормонов. Сложившаяся к тому времени в Америке тенденция культуры толкнула их к следованию ветхозаветной парадигме Исхода, а не недавнему опыту европейских войн.

Исходным импульсом, однако, всегда служит избыточная человеческая активность, которую господствующей культуре не всегда удается загнать в приемлемые рамки.

Спорт – гениальное изобретение демократической культуры античных греков, возрожденное затем демократической культурой англичан – отчасти погашает этот постоянно действующий вулкан.

И всеобщие выборы, со всем сопутствующим им идиотизмом,

есть далеко не худший способ утихомирить страсть к самовыявлению и инстинкт власти без кровопролития. Для того, впрочем, чтобы этот способ был эффективен, необходимо, чтобы господствующая традиция почему-либо предусматривала недопустимость прямого насилия. (Наверное, именно этим объясняется неожиданно длительное существование демократии в Индии.) Избранный демократическим путем лидер оказывается в щекотливом положении всякий раз, когда ему приходится применить силу. Он таким образом неизбежно теряет симпатии какой-то части избирателей. Впрочем, проявить чрезмерную уступчивость для народного избранника тоже опасно. Именно поэтому большинство демократических политиков так бесцветны. В то же время военные преступники и тираны, Фидель Кастро и Че Гевара, Эвита Перон и Винни Мандела, вдохновляют легковерных романтиков в свободных странах, примеряющих на них яркие одежды героев своей культуры, вроде Гарибальди.

В этом отношении положение израильского истеблишмента особенно деликатно. Культура нашего народа отрицает насилие как приемлемый способ взаимоотношений. Менахем Бегин, будучи успешным главой военной организации, демонстративно отказался от сопротивления временному правительству Бен-Гуриона во время войны за Независимость, предопределив тем самым демократический стиль политических взаимоотношений внутри страны. Однако, наше существование в регионе не только было бы невозможно без начального насилия, которое положило основание государству, но и в дальнейшем сама сионистская идея взаимовыгодного мирного сосуществования внедряется в сознание окружающих народов только в ходе ежедневной, многолетней войны.

Наличие у нас внутренней дискуссии о тактике этого внедрения наши соседи, принадлежащие к совсем другому культурному типу и чуждые библейским парадигмам, принимают (правильно или неправильно) за обнадеживающие знаки приближающегося развала, а не в качестве источника силы нашего общества.

Существующая в израильском обществе культура открывает для суперактивного индивида множество возможностей помимо войны – он может посвятить себя науке или заняться спортом. Он может потрясти мир своим искусством, он может разбогатеть, возглавить партию, профсоюз, основать фирму или поселение. Наконец, он может отчаянно (и довольно безопасно) бороться

за мир, за права арабов, за справедливый процент восточной музыки в радиопередачах. Даже вооруженная борьба за освобождение йеменитских детей, злодейски присвоенных ашкеназами пятьдесят лет назад обошлась малой кровью. Да и бабники, гомосексуалисты, пьяницы и даже наркоманы сравнительно безбедно могут предаваться своим страстям в израильском обществе без всякой конспирации. Наше общество интегрирует практически всех и оставляет очень мало отпетых диссидентов, которые могли бы сформировать потребность в войне или других радикальных переменах. Самые решительные деятели, вроде Меира Каханэ или Авигдора Эскина, появились у нас в результате импорта из великих держав. Израильтянин, даже дослужившись до генерала, не решится сказать, что военная опасность его увлекает. Друзья, не медля, его осудят.

Не та ситуация в окружающих нас арабских странах. Там нет сексуальной свободы, осуждается пьянство, слабо развит спорт, нет интереса к искусству, практически нет науки. Уровень светского образования невероятно низок. Профсоюзное движение, как и всякая иная политика, смертельно опасны, бизнес связан со взятками и покровительством кланов. Газеты не имеют голоса, а оппозиция возможна в столь узких пределах, что легче выдвинуться, вступив в террористическую организацию. При таких условиях почетная смерть в бою с сионистскими захватчиками, американскими империалистами или в результате покушения на своего президента представляется неплохим вариантом карьеры для арабского мальчика.

Война – не худшее из человеческих занятий, и имеет позади себя многотысячелетнюю традицию. Культура войны в большом почете у мусульманских народов. Духовные лидеры ислама поощряют это настроение, и, значит, такое положение, по-видимому, установилось надолго. Причины же для войны всегда наличествуют, если не разработаны другие способы решения проблем и конфликтов. Эта культурная ситуация поощряет все новые и новые темпераментные группы во всех мусульманских странах пытать свое счастье.

Война (и как победа, и как поражение) в недемократических странах очень желательна скрытым „революционерам" всех уровней, которые надеются сменить сегодняшних правителей и их камарильи. Однако война современными средствами (и особенно, поражение) слишком опасна (и потому нежелательна)

для режимов, в которых бюрократические порядки в какой-то степени уже установились. Она угрожает и самим диктаторам, и их недавно сложившимся элитам. Вот, наличие этой двусторонней опасности, собственно, и обеспечивает то хрупкое взаимопонимание любого нашего правительства с бюрократической (или плутократической?) верхушкой окружающих стран, которое внушает надежду на конечный мир в нашем регионе. Участие „народа" почти во всех случаях только осложняет этот, и без того трудный, процесс.

Можно ли судить народы за их пристрастия? Ответ на этот вопрос зависит от того, как мы ответим на вопрос о том, КТО будет их судить.

Недавний прецедент суда над О.Симпсоном, убившим свою жену и случайно заглянувшего к ней гостя, подсказывает пессимистический взгляд на перспективы международного правосудия. Суд присяжных, состоявший из черных американцев, оправдал черного Симпсона, несмотря на тяжкие улики, представленные белыми полицейскими и отчаянные протесты белых родственников убитых.

Спустя полгода гражданский суд, состоявший на этот раз из белых, признал Симпсона полностью виновным. Оба суда придерживались тех же самых демократических законов в самой демократической стране мира.

О. Симпсон стал популярным героем у какой-то части американского народа, и его теперь окружает вооруженная охрана, состоящая из черных мусульман...

Если иудео-христианская цивилизация не в силах пока что восторжествовать на свой собственной исконной территории, как можно рассчитывать, что она в ближайшее время перевоспитает в духе своих принципов весь остальной мир?

Военных преступников судят только после военного поражения. Это значит, что гуманистическая цивилизация парадоксальным образом может рассчитывать на торжество своих принципов „доброй воли" только при условии очевидного военного превосходства. Тогда следует подготовиться к тому, что либо этого торжества не произойдет вообще, либо оно не будет всеобщим. Что есть справедливость для бесчисленных народов, „не умеющих отличить правую руку от левой"? Намного ли она отличается от той, что была у готов, гуннов и вандалов всего полторы тысячи лет назад?

Александр Кустарев

ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ СПУСТЯ, ИЛИ НАКОНЕЦ-ТО ОНА КОНЧИЛАСЬ

Also, doch*

Вторая мировая война, или Великая Отечественная, прошла мимо меня бледной тенью. Несколько позднее то место в моем сознании, которое ей полагалось бы занять, удивительным образом заняла Первая мировая война.

Получилось это так. Главными идолами молодого литературного салона в Ленинграде во второй половине 50-х годов были Хемингуэй, Ремарк, Дос Пассос. Кое-кому был известен Селин и даже Дрие ла Рошель. Читать их и ссылаться на них в разговоре было хорошим тоном. Конечно, салон, всегда старающийся забегать вперед самого себя относился к своим идолам с самого начала и слегка иронически, но, разумеется, в глубине души интеллигентные горожане были в полной эмоциональной кабале у Хемингуэя и К°. Ну а те, у кого еще был вкус к истории, попали в историческую тень Первой мировой войны, которая породила всю ту литературу, что стала влиятельной как раз в это время. Российские города, начавшие оттаивать после хрущевского зигзага, переживали то, что им полагалось пережить в 30-е годы. Так опыт Первой мировой войны оказался мне ближе, чем опыт Второй.

---

* „Ах так, ну что же" – слова, которые произнес император Франц-Иосиф, когда ему сказали, что Сербия не приняла ультиматум.

* * *

Шло время. Ремарковщина усыхала. Негативная реакция на высокопарную и казавшуюся неправдивой официальную советскую литературу о Великой Отечественной войне притуплялась. Обе войны перестали быть элементами личного (подлинного или придуманного опыта). Эмоциональное отношение к ним сменилось исторической рефлексией. И при этом две Войны стали сливаться в одну Войну. Мое поколение оказалось, по-видимому, особенно благоприятно расположено во времени для восприятия и понимания двух мировых войн как одного, в сущности, события. Или лучше сказать, что оно оказалось первым историческим поколением, которому это слияние далось сравнительно легко. Теперь, когда меня спрашивают, когда ОНА кончилась, я, разумеется, отвечаю, что в 1945 году. А когда меня спрашивают, когда она началась, я без колебаний отвечаю, что в 1914.

* * *

Два акта одной Большой Войны были разделены, между прочим, весьма коротким промежутком времени. Чем дальше мы уходим от Потсдамского соглашения, тем более коротким этот промежуток представляется. В самом деле. Гражданская война в России, которую с полным основанием можно считать продолжением Первой мировой войны, тянулась, скажем, до 1922 года. На 1923 год приходится короткий, но яркий эпизод, именуемый иногда „Рурской войной“: французские войска были посланы в Рурскую область, чтобы „помочь“ Германии выплачивать репарации поставками рурского угля. А так называемая Вторая мировая война началась как считалось раньше (и вполне обоснованно) с нападения Италии на Абиссинию в 1935 году.

Остается 13 лет. Столько же длились и военные действия на протяжении между 1914 и 1945 годами. Важно также помнить, чем были насыщены годы этого промежутка. Посередине он украшен Великой депрессией 1929-33 годов. А политическая жизнь в эти годы состояла из лихорадочных и рискованных дипломатических маневров то ли в попытках предотвратить войну, то ли в попытках предрешить ее исход с помощью наиболее удобных для каждого из ее будущих участников союзни-

ческих комбинаций. Между 1922 и 1938 (или 1935) годами война, возможно, и не гуляла по европейской земле, но она висела в европейском воздухе. Ее боялись, ее ждали, ее хотели. Фрейдизм.

Многие теперь настойчиво именуют всю эту эпоху „тридцатилетней войной". Обыденное сознание еще не привыкло к такой трактовке, а лидеры европейской мысли вполне сознают, что понятие „тридцатилетняя война" имеет сильный полемический оттенок.

* * *

Вряд ли кто сомневается в значении этой эпохи для всей истории человечества. При взгляде на нее, что называется, дух захватывает, как захватывает дух при взгляде на высокие горы или открытое море, или, если угодно, на Манхэттэн с другого берега поздно вечером, при освещении...

Масштаб - вот что потрясает в первую очередь. Это ощущение масштаба событий в свое время эффектно выразил Вернадский. Человечество, писал академик, представляет собой, безусловно, геологический фактор. Мне окончательно это стало ясно, продолжает Вернадский, когда я наблюдал за ходом мировой войны.

Вот так. Есть что-то леденящее в этом хладнокровном суждении. Тут, понимаете, люди гибнут, а он про геологию. К сожалению, так бывает часто: содержательные идеи приходят людям в голову, когда они отвлекаются от моральной стороны дела.

Сами по себе масштабы Тридцатилетней войны уже есть ее существенный содержательный элемент. Масштабы и методы уничтожения биологической массы в продолжение Тридцатилетней войны были так впе ляющи, что это привело к полной (во всяком случае пока что) беде пацифизма, который появился на сцене незадолго до 1914 года (Берта фон Зуттнер), как бы в предощущении того, куда идет дело.

Дискредитация войны как разновидности человеческих отношений, если она действительно имеет место, большое событие в культурной эволюции. Многое в новейшей истории как будто указывает на то, что такой сдвиг в европейском (включая американское) сознании произошел. Трудно объяснить иначе то, что война последних пятидесяти лет была холодной. Если бы не

пацифизм, она вполне могла бы стать, горячей, несмотря на шок Хиросимы, оставшийся для всех заинтересованных сторон, кроме Японии, абстракцией.

* * *

Уже одно это наблюдение, как мне кажется, нетривиально, но, разумеется, дело этим не ограничивается. Уроки Тридцатилетней войны многочисленны, и пройдет еще много времени, прежде чем эти уроки будут извлечены. Но кое-что можно сделать уже сейчас.

Никогда раньше в истории проблема понимания события и его моральной оценки не были так тесно переплетены. Ощущение, что эта война была преступлением перед человечеством, никогда не покидало ни ее наблюдателей, ни ее участников.

Ну, а если это преступление, то кто-то должен быть в нем виноват. Многозначительно, что еще до начала войны (то есть до 1914 года) ее будущие участники были озабочены тем, кто впоследствии будет ОБВИНЕН в том, что война все-таки началась. Пожалуй, это была первая в истории война, которую ее будущие участники с самого начала рассматривали как нежелательную и очень не хотели, чтобы им пришлось за нее отвечать. Европа сползала к войне под аккомпанемент взаимных обвинений. Тяжба по этому поводу улеглась (хотя и не совсем) только после Нюрнбергского процесса. Гитлеровский режим так сильно „наследил" и у себя дома, и на оккупированных территориях, что казалось совершенно несомненным, кто тут был главный преступник. Ну что ж, если смотреть на Вторую мировую войну как на изолированное событие, вряд ли у кого возникнет охота пересматривать устоявшееся и даже юридически оформленное в Нюрнберге представление.

В конце концов, нацисты, во всяком случае Гитлер, открыто декларировали свои цели. Можно, конечно, думать, что это была пустая пропаганда, вроде разговоров о „мировой революции", шедших одно время в Москве. Но случилось так, что мировой революции не произошло, а германское завоевание Европы и нападение на Советский Союз - произошли.

Итак, вопрос о виновности во Второй мировой войне надо полагать решенным. Но никак нельзя сказать того же о начале Тридцатилетней войны в 1914 году. Тут всегда было несколько точек зрения.

* * *

Одну версию можно назвать „коминтерновской", поскольку в ней отразился интернационалистский антиимпериалистический дух 20-х годов. Но она была принята не только в компартиях, но и в социалистических и вообще в лево-критических кругах. За их пределами как менее идеологизированная версия „общей виновности" она была принята тоже. Широко цитируется, например, Ллойд Джордж, сказавший: „нации сползли в кипящий котел войны". Эта критически-скептическая точка зрения долгие годы была, пожалуй, самой влиятельной.

Другую версию назовем „версальской". Версальский мир еще не был Нюрнбергским процессом, но в Версале уже был сделан шаг в сторону Нюрнберга. Победители во главе с Францией уже тогда сочли нужным объявить Германию виновной в том, что это она развязала войну. Статья 231 Версальского договора объясняла всем, почему Германию следует наказать, то есть ограбить и кастрировать в военном отношении.

Третью версию развивали, как нетрудно догадаться, в основном немецкие историки. По их мнению виноваты были Россия и Франция. В поддержку этой версии было издано множество трудов.

Надо заметить, что предвоенная германская дипломатия пыталась заранее выставить Россию в роли главного виновника. Из некоторых германских документов того времени достаточно хорошо видно, что такова была дипломатическая стратегия, не гнушавшаяся ни пропагандой, ни подтасовками. Теперь критикам немецкой версии кажется, что, поймав германскую дипломатию с поличным, мы получаем доказательство несомненной вины самой Германии. Дескать, ясное дело, вор кричит „держи вора". Но на самом деле такой вывод не обоснован. Если кто-то кричит„ держи вора", это само по себе вовсе не значит, что он сам вор.

Немецкая версия начала Первой мировой войны окончательно заглохла после Второй мировой войны. Произошло это по понятным причинам. Даже в самой Германии в 1961 году появилась книга Фрица Фишера, создавшая влиятельную „антигерманскую" школу. Хотя, конечно, германская историография по этому вопросу осталась расколотой.

В 20-е и 30-е годы Версальский мир обсуждался в плане его

моральной обоснованности и экономической целесообразности. Смотревший далеко вперед Кейнз, как известно, высказывал экономические аргументы против Версаля - вполне в духе той экономической теории, которую он сформулировал позже. Ллойд Джордж тоже опасался, что Версальский мир чреват. Его возражения были, пожалуй, не экономическими, а геополитическими. Оба британца сходились, однако, в одном: Версальский мир создает предпосылки для новой войны. Так и произошло. Вторая мировая война разразилась очень скоро, и есть все основания утверждать, что она была прямым продолжением Первой.

Под впечатлением нацизма многие и сейчас продолжают думать, что в обеих войнах виновата Германия. Две войны, дескать, были попытками Германии установить мировое господство. Первая попытка сорвалась, и Германия предприняла вторую.

* * *

Итак, в нашем распоряжении несколько интерпретаций исторического отрезка между 1914 и 1945 годом. Одна из них отражает очень рутинное нацио-центрическое мировоззрение. Это мировоззрение предполагает, что виноватой должна быть какая-то страна. Германия, Англия, Россия, Франция - неважно какая, но обязательно какая-нибудь. Поскольку в войнах всегда кто-то на кого-то напал первым, поиски виноватых кажутся обыденному сознанию исполненными здравого смысла.

В рамках другого мировоззрения тоже ищут виноватых, но не виноватые страны и не виноватых людей. Виноватым оказывается определенный общественный класс или группа интересов. Заметим попутно, что в этом варианте „виновность" гораздо труднее обсуждать в судебных терминах; поэтому эта версия среди обывателя не популярна. Большевики, страстно рвавшиеся к необыденому сознанию, к теоретическим представлениям, приняли эту точку зрения, которая на их жаргоне именовалась „классовой". (Между прочим, обыденное сознание в большевиках прорвалось, когда они, ничтоже сумняшеся, решились отдать под суд всю буржуазию.)

Те, кто держался этой точки зрения, называли Первую мировую войну „империалистической".

Война была, согласно этой трактовке, схваткой между империализмами, и если мы будем искать, какой именно империализм был виноват более других, мы уйдем от сути дела. В терминах дипломатической истории можно считать более виноватой Германию или Россию. Но, ради всего святого, говорят сторонники этой точки зрения, какое значение имеют такие пустяки.

Империалистические страны, где могли, заключали компромиссы, или даже пытались проводить совместную колониальную политику, как, например, Германия, искавшая сотрудничества в Африке и на Ближнем Востоке с Англией. Но когда это не получалось, хватались за оружие. Не всегда это приводило к войне, но милитаристское бряцание оружием, несомненно, было музыкой эпохи. Экспансия была нормой. Война все еще считалась продолжением политики другими средствами. А вся политика вертелась вокруг „территорий".

Итак, „империализм - это война". Так думали и сами буржуазные империалисты, и их критики слева. Это суждение было, в сущности, умственным клише того времени.

(Не могу удержаться чтобы не вспомнить П.С. Паркинсона - „закон Паркинсона" - тот самый. В конце 60-х годов Паркинсон, а он был маниакальный антисоциалист, утверждал и довольно остроумно доказывал, что „социализм - это война". Ввиду этого мы имеем теперь право скептически усмехнуться и спросить не без горечи: а что же не война?)

Так или иначе, а вытекающая из этих представлений идея „общей вины" кажется мне если и не ближе к истине, то, по крайней мере, мудрее и благороднее, чем бесконечные препирательства между странами на тему, кто первый сказал „э". К этой идее мы могли бы теперь вернуться. Но это возвращение не будет полным, потому что сравнительно недавно появилась книга, вносящая новый волнующий мотив в обсуждение Большого вопроса.

В 1981 году американский историк Арно Майер опубликовал книгу под названием „Первая мировая война – сопротивление Старых режимов". По-английски "persistence" – это очень емкое понятие. По словарю это означает „упорство", „живучесть", „продолжение существования".

В книге Майера речь идет о том, что Старые режимы (в том смысле, который придала этому понятию еще Французская

революция) к началу нашего века вовсе не ушли в прошлое, а фактически продолжали существовать повсюду в Европе и были активным агентом исторического процесса.

XIX век сперва потеснил Старые режимы. Индустриализация Европы вывела на сцену нового агента - промышленную буржуазию, а затем финансовый капитал. Династический колорит геополитической реальности как будто бы сменился национальным, но эта „национализация" мало обновила сущность Старых режимов, а во многом была даже способом их консервации. Это особенно хорошо заметно, если не забывать, что в России и Австро-Венгрии, например, националистическая пропаганда была вообще очень искусственной, поскольку оба государства отнюдь не были национальными. Серьезным пережитком „династизма" (по меньшей мере) была Германия. А если мы взглянем внимательнее на Англию и Францию...

Можно думать, что при переходе от традиционного общества к современному замена династизма национализмом в интересующем нас плане не принципиальна, даже если считать, что эта замена в начале XX века произошла, что на самом деле не совсем так.

Однако дело ведь не только в характере политического строя и его легитимизации. Еще важнее культурное влияние разных социальных групп в обществе. Так вот, Арно Майер в своей книге обращает внимание именно на культурную слабость буржуазии. Предпринимательские успехи буржуазии были в XIX веке впечатляющи, но это не должно нас вводить в заблуждение. Потому что ее социальные успехи были двусмысленны и нуждаются в итерпретации. Денежное достояние надо было превращать в социальное достоинство. Поздняя буржуазия как уже сложившийся „досужий класс" не нашла ничего лучше чем примазаться к социальному достоинству старого „досужего класса". Буржуазия домогалась титулов и получала их, породнялась с дворянскими семьями, имитировала „благородный" образ жизни.

Буржуазия не шла в политику и государственную администрацию. Став уже, казалось бы, господствующим классом в обществе, она делегировала функцию государственной политики старому классу. Поскольку одновременно политический аппарат растет, места в нем заполняются выходцами из старого класса.

Ползучая реакция оказывается на рубеже веков чуть ли не доминирующим элементом общественной жизни всех европейских стран. И это укрепляет представление о войне как о нормальном элементе в отношениях между ними.

Однако, чтобы ухватить суть дела, нам придется заняться вопросом, а что такое, собственно, война? Это совсем не праздный вопрос. Дело в том, что „войну" можно понимать, так сказать, в рядовом смысле и в культурно-специфическом.

В родовом смысле „война" – просто синоним борьбы, или игры на выигрыш, или конкуренции. В то же время, с легкой руки Бисмарка война понимается как продолжение политики другими средствами. Но ведь, кажется, с таким же успехом можно считать войну продолжением конкуренции другими средствами.

Новая буржуазная культура вполне может обойтись без армий в мундирах и полевых баталий. Капиталы могут вести войну на бирже, минуя перестрелку и переходя прямо к репарациям. При таком понимании войны она не может быть продолжением конкуренции, так как конкуренция это и есть сама по себе война, только ведущаяся иными средствами.

Это наблюдение многих, вероятно, озадачит: ведь исторические войны буржуазии были внушительной реальностью. Достаточно вспомнить саму Тридцатилетнюю войну, которую мы теперь обсуждаем. На это я могу лишь сказать, что говорю о войне буржуазной эпохи как о „войне капиталов" в идеально-типическом смысле. Капиталы ведут войну в бухгалтерских книгах, теперь в компьютерах. Переход от войны между армиями к войне между балансами счетов, то есть от войны телесной к войне символической, условной можно считать элементом „восхождения к абстракции" - процесса, который, вероятно, совпадает с процессом всеобщей эволюции. Эту эволюцию, если мы не побоимся, можно даже назвать прогрессом. Да это и есть прогресс.

Так вот, в начале века этот шаг вперед еще не был сделан. Война оставалась войной в культурно-специфическом смысле. Она все еще была „игрой в солдатики". И не в бухгалтерских книгах, не на компьютерных экранах, а на реальной географической территории. Правящие элиты вели войну так, как они привыкли за последние тысячи лет.

После этого рассуждения, я надеюсь, мы лучше поймем, что

выбирая между „Капитализмом“ и „Старым режимом“ на роль главного агента Тридцатилетней войны мы должны бы, пожалуй, выбрать „Старый режим“, потому что война в 1914 году приобрела вид, адекватный его культуре.

И тогда наше внимание вновь привлекает Россия. Потому что из всех Старых режимов Европы российский режим был, несомненно, самым Старым.

Макс Вебер считал, что Царизм вступил в войну (а, может быть, даже развязал ее) в надежде приостановить революционный процесс. А в его записке Версальской комиссии эта точка зрения отражена в полной мере там, где записка говорит о мотивах германского НАРОДА воевать до победного конца. Германский народ, пишут Вебер и товарищи, считал эту войну оправданной, лишь поскольку это была война против Царизма, то есть против Старого режима пар экселлянс.

Соединение трактовки Арно Майера с трактовкой Вебера и соавторов напоминает нам о том, что дело, конечно, не только в „культуре“ старого класса или Старого режима, но и в их реальных интересах. Хотя, разумеется, можно понимать „культурные интересы“ как разновидность реальных.

Царизм, однако, был всего лишь самым Старым режимом из всех Старых режимов. Сам Вебер, впрочем, не питал особых иллюзий и относительно кайзеровского режима в Германии. Возьмем от коминтерновской трактовки Первой мировой войны идею „всеобщей вины“ и обогатим ее представлениями Майера о роли старых элит в Войне. Предприниматель, конечно, фатально склонен к экспансии, но форму экспансии и способы ее осуществления в то время определял не он. А что касается территориальной экспансии старого класса, то она в культурном плане связана с традицией „землевладения“. „Земля“ для старого класса была источником дохода, а также и статусным знаком. Второе, как мне кажется, даже важнее, поскольку система статусных знаков сохраняется даже тогда, когда отмерла ее материально-экономическая база. В высшей степени характерно, что нации и их лидеры - национальная буржуазия вели себя в XX столетии как средневековые феодальные сеньоры. Можно сказать, что война при капитализме - это пережиток феодализма.

Итак, в культурном плане война была имманентна старорежимному типу сознания. А в политическом плане война была

средством направить энергию наций в сторону от грозящих революций. Опыт показал, что этот расчет был неверным. Но такой расчет был. Надо полагать, что Вебер был совершенно прав, когда приписывал эту логику Царизму. И все же, коль скоро Царизм не был единственным Старым режимом, эта же логика была свойственна и всем остальным.

Я особо подчеркиваю культурный фактор Войны, потому что раньше на него не обращали должного внимания, всегда возвращаясь к таким вещам как „свежие ресурсы" и „рынки сбыта".

Ну а как обстоит дело теперь? Продолжает ли эта комбинация экономических интересов национальной буржуазии и социально-культурных интересов феодально-династических элит существовать? Погиб ли Старый мир в огне Тридцатилетней войны?

Будем считать прошедшие полвека эпохой мира. Это, конечно, серьезное упрощение. На Юге войны шли не прекращаясь. И Штатам и Союзу пришлось повоевать самим - во Вьетнаме и в Афганистане. Тем не менее, участники Тридцатилетней войны 50 лет друг с другом напрямую не воевали, хотя отношения между ними были отнюдь не безмятежными. Чем это миролюбие объяснить?

В ходу (в разных кругах) два наиболее популярных объяснения. Говорят, например, что полувековой мир стал возможен благодаря пацифистским настроениям (я сам склоняюсь к этой точке зрения). Они не только овладели массами, но и заразили административно-политические круги. Как я уже писал несколькими страницами раньше, пацифистские настроения возникли главным образом под впечатлением самой Тридцатилетней войны.

Но можно ли считать происшедшую перемену (на мой взгляд перемену к лучшему) необратимой? „Настроения", если они еще не вошли в привычку, или, как говорят специалисты-социологи не „интернализированы", могут быстро измениться, если изменятся обстоятельства. Тем более, что для возрождения „белликозности" или войнолюбия вовсе не нужно, чтобы изменились настроения в с е г о населения. Войны, сопровождавшие распад Советского Союза и Югославии, вели отнюдь не народы.

Другое объяснение длительного мира более цинично: мир объясняют тем, что нас сдерживала ядерная угроза. На это можно сказать следующее:

Во-первых, мы пока что вступили в полосу ядерного разоружения. Смысл этой перемены отнюдь еще не ясен. Ведь очень может быть, что в свое время был прав Роберт МакНамара, утверждавший, что ядерное сдерживание - блеф, и обе стороны прекрасно понимали, что блефуют: никто и не собирался применять ядерное оружие. Если так, то обе стороны теперь просто признают, что никакой ядерной угрозы никогда не было и незачем тратить на нее такие деньги. За этим может скрываться (хотя пока и подсознательное) намерение вновь вернуться к войне как легальному способу решения геополитических проблем.

Можно видеть смысл происходящего и в другом. Конец холодной войны позволил всем участникам вынуть шею из экономической петли гонки вооружений, но никто еще не знает, что произойдет дальше. Никто как будто не собирается возвращаться к войне (допустим, даже подсознательно). Но зато в этом случае возвращение к войне может произойти само собой, после того как все осознают, что роковой ядерной угрозы на какое-то время нет.

Еще один вариант: потенциальные агенты войны просто перестанут считаться вообще с масштабами разрушений и числом жертв. Этот апокалиптический вариант мы часто видим в фантастических романах и фильмах. И этот вариант перемещает наше внимание на „потенциальных агентов войны". Кто они?

Старые классы, то есть старорежимная элита, кажется, теперь-то уж в самом деле ушла в прошлое. Но не найдется ли ей наследник?

Похоже, что такой наследник находится. Это - региональные или местные этнические элиты бюрократического происхождения. Они борются между собой, хотя предмет их одержимости уже не экспансия, а обособление. Они - носители уже не старого собирательного национализма (классический образец - Германия XIX века), а нового сепарационного национализма, партикуляризма.

Легко было бы объяснить поведение этих новых маленьких элит их интересами. Но интересы интересами, а войну можно вести, как мы уже говорили раньше, по-разному. Так что пока не менее правдоподобно будет утверждение, что этнические бюрократии попросту имеют склонность к военно-полевым действиям.

Ведь дело в том, что они конкурируют не только с центральной бюрократией, друг с другом, но и с буржуазией пар экселлянс. А буржуазия хотела бы воевать другими средствами. Этнические бюрократии не располагают деньгами, но располагают людьми. Они экономически некомпетентны. Означает ли все это, что этнические бюрократии склонны к войне в культурно-специфическом смысле, я утверждать пока что не берусь. Я подозреваю, что это так. Было бы неплохо, если бы социологи, вместо того чтобы играть в бирюльки, попытались это понять. Ждать, пока нас в этом убедит опыт, может оказаться слишком опасно.

«АНТИПОДЫ»

НЕЗАВИСИМЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Главный редактор – Борис Кабов

Адрес редакции:

"ANTIPODI"
P.O.Box 214.
Glenhantly 3163, Victoria, Australia
Tel. (03) 9 578 06 14

Алек Д. Эпштейн

ВОЙНА КАК ВЫРАЖЕНИЕ ОБОЮДНОГО СТРЕМЛЕНИЯ (СОВЕТСКО-ГЕРМАНСКИЙ ПАКТ И НАЧАЛО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ)

Выдающийся военный теоретик и историк Карл фон Клаузевиц (1780-1831) выдвинул, среди прочего, два интереснейших тезиса: во-первых, что война есть не более чем продолжение политической активности другими средствами, а во-вторых, что война есть выражение обоюдного стремления противоборствующих сторон: когда этого стремления нет, нет и войны. Разумеется, речь идет о выражающих желания каждой из сторон действиях, а не о ни к чему не обязывающей риторике. Надо отметить, что во времена Клаузевица понятие „война" было тождественно понятию „битва", которая разворачивалась по известным правилам ритуала, и та сторона, которая участвовать в битве не хотела, могла просто не концентрировать в предполагаемом месте битвы свои войска: именно так, например, поступил Кутузов в 1812 году, пропуская Наполеона к Москве. В XX веке подобное едва ли возможно. Не потерял ли - в свете исторического опыта мировых войн - второй тезис Клаузевица своей актуальности? Не является ли начало советско-германской войны 22 июня 1941 года примером того, как потерпели крах все попытки Советского Союза предотвратить войну? Ведь именно вторую мировую войну приводили в пример каждый раз, когда имели целью показать бессилие всего человечества перед лицом одного неукротимого

© Все авторские права сохранены, 1996

сумасшедшего диктатора. С мая 1985 года дискуссия по этому вопросу приняла несколько иное направление: попросивший в 1978 году политического убежища в Англии капитан ГРУ Виктор Суворов опубликовал на русском и английском языке статьи, в которых утверждал, что в июле 1941 года Сталин был готов к неожиданному нападению на нацистскую Германию, а Гитлер всего лишь опередил его. Суворов развил свой тезис в книгах „Ледокол" (1987), „День „М" (1994) и „Последняя республика" (1996), переведенных на английский, немецкий и девять других языков. Начиная с 1992 года книги Суворова выходят и в России, где они вызвали огромный резонанс: в 1993-1996 только в специализированных исторических журналах было опубликовано более тридцати статей, анализирующих выдвинутые Суворовым положения. Профессор тель-авивского университета Габриэль Городецкий издал в 1995 году книгу „Миф „Ледокола", целиком посвященную попытке ниспровержения личности и текстов Суворова. На этом фоне с особенным интересом воспринимались в России первопубликации в 1993 году секретных протоколов к подписанному в августе 1939 года пакту Молотова-Риббентропа и записей бесед Молотова и Риббентропа в Берлине в ноябре 1940 года. Настоящая работа преследует целью через призму этих материалов проанализировать основные положения книг Суворова. При этом сами книги служат только поводом к дискуссии, а потому обсуждение биографии и личных интересов Суворова, его сторонников и оппонентов, никак не входит в наши планы. Целью нашей работы является попытка ответа на вопрос, действительно ли начало советско-германской войны 22 июня 1941 года является примером того, как потерпели крах все попытки Советского Союза предотвратить ее, либо же начало второй мировой войны представляет собой выражение обоюдного стремления правителей как Германии, так и Советского Союза. Учитывая, что *агрессивный характер гитлеровской политики никем не ставится под сомнение,* для положительного ответа на поставленный вопрос достаточно доказать, что *и Сталин делал все, что было в его силах, дабы приблизить вторую мировую войну.* В этом случае тезис Клаузевица можно будет - применительно к самой кровавой из войн в истории человечества - считать доказанным.

В настоящей работе акцент сделан прежде всего на политических, а не военно-технических аспектах. Кроме того, работа

ограничена рамками советско-германских отношений 1939-1941 годов. Здесь почти ничего не говорится о бурном сотрудничестве Красной Армии и Рейхсвера в 1922-1933 годах, чему посвятили свою книгу Ю. Дьяков и Т. Бушуева[1], равно как об отношениях СССР с другими государствами Оси.

1. СБЛИЖЕНИЕ

Суворов пишет: „22 июня 1941 года Германия внезапно и вероломно напала на Советский Союз. Это исторический факт. Однако это очень странный факт: до второй мировой войны Германия не имела общих границ с Советским Союзом и поэтому не могла напасть, тем более - внезапно. Германия и Советский Союз были разделены сплошным барьером нейтральных государств. Для того, чтобы советско-германская война могла состояться, необходимо было создать соответствующие условия: сокрушить барьер нейтральных государств и установить общие советско-германские границы. Барьер между Германией и СССР был двойным и лишь в одном месте - одинарным. Польша - единственная страна, которая имела одновременно границы и с Советским Созом, и с Германией. Понятно, что потенциальный агрессор, который желал, чтобы советско-германская война состоялась, должен был пытаться прорубить коридор именно здесь. Гитлер обратился к Сталину с предложением совместными усилиями сделать пролом в разделительной стене. Сталин с восторогом принял такое предложение, прорубая коридор навстречу Гитлеру. Так возникла общая советско-германская граница, и как следствие этого - возможность войны, в том числе и внезапной“[2]. В этой связи нам непонятно, почему Г. Куманеву и Э. Шкляру „совершенно очевидно, что вторжение Германии в Польшу совершилось бы и в том случае, если бы пакта [Молотова-Риббентропа] не существовало и в помине“[3]. Напротив, как отмечает Л. Гинцберг, „23 мая 1939 года на совещании Гитлера с главными военными чинами было принято решение о нападении на Польшу“ при первом же подходящем случае“, а это значительно усиливало необходимость для Германии договориться с СССР“[4]. Сам Гитлер за пять дней до нападения на Польшу подчеркивал, что „благодаря переговорам с Советской Россией в международных отношениях возникло

совершенно новое положение, которое должно принести оси [Рим-Берлин-Токио] величайший из возможных выигрышей[5]. Суворов отмечает, что „если Гитлеру одного пролома в стене было достаточно, то Сталину - нет. Кроме стран, имевших границу с Советским Союзом, в рабство к Сталину попала и Литва, которая вообще границ с СССР ранее не имела. Ранее советско-германская граница проходила по покоренным польским территориям. Появление советских войск в Литве означало, что они вышли теперь уже к границам Восточной Пруссии. На вопрос „зачем?" четко и ясно еще в 1936 году ответил сам Сталин: „История говорит, что когда какое-либо государство хочет воевать с другим государством, даже не соседним, то оно начинает искать границы, через которые оно могло бы добраться до границ государства, на которое оно хочет напасть"[6].

Документы о советско-нацистском сотрудничестве в 1939-1941 годах были извлечены из архивов германского МИДа и впервые опубликованы на немецком языке и в английском переводе госдепартаментом США еще в 1948 году. На русском языке они впервые опубликованы в вышедшем в США под редакцией Ю. Фельштинского сборнике в 1983 году[7]. Советским историкам эти материалы стали доступны после того, как сборник Ю. Фельштинского был в 1989 г. переиздан в Вильнюсе. Подлинный текст секретных протоколов к пакту Молотова-Риббентропа был опубликован в России только в 1993 году[8].

Путь к заключению знаменитого пакта о ненападении был на удивление коротким и занял чуть более четырех месяцев. 17 апреля 1939 года статс-секретарь германского МИДа сообщил о беседе с советским послом, который заявил, что „идеологические расхождения не должны стать камнем преткновения в отношении Германии. С точки зрения России, нет причин, могущих помешать нормальным взаимоотношениям с [Германией]. А начиная с нормальных, отношения могут становиться все лучше и лучше"[9]. 20 мая состоялась первая беседа Молотова с Шуленбургом, в ходе которой новоназначенный наркоминдел заявил: „Мы пришли к выводу, что для успеха экономических переговоров должна быть создана соответствующая политическая база. Без такой политической базы, как показал опыт переговоров с Германией, невозможно решить экономические вопросы"[4]. 17 мая заведующий восточно-европейским отделом

МИДа Германии Ю. Шнурре сообщил, что советский полпред в Германии К.А. Астахов „подробно объяснил, что в вопросах международной политики у Германии и у Советской России нет противоречий, и поэтому нет никаких причин для трений между двумя странами“[10]. Так же считал и Гитлер - 5 июня германский посол в России Ф. фон Шуленбург отмечал, что „трений и спорных вопросов между Германией и Советским Союзом нет. Мы ничего не просим у Советского Союза, а Советский Союз - у нас“[11]. Этот же момент отмечал в меморандуме от 27 июля внимательный к происходящему Ю. Шнурре: „несмотря на все различия в идеологии Германии, Италии и Советского Союза - общее: противостояние капиталистическим демократиям. Слияние большевизма с национальной историей России, выражающееся в прославлении русских людей и подвигов (празднование годовщин Полтавской битвы, Петра Первого, битвы на Чудском озере. Александра Невского) изменили интернациональный характер большевизма...“[12] Статс-секретарь МИДа в инструкции германскому послу в Москве двумя днями позже писал: „при любом развитии польского вопроса мы будем готовы гарантировать все советские интересы и достигнуть понимания с московским правительством“[13]. Об этом же 14 августа Риббентроп просит Шуленбурга проинформировать Молотова: „Идеологические расхождения между национал-социалистической Германией и Советским Союзом были единственной причиной, по которой в предшествующие годы Германия и СССР разделились на два враждебных, противостоящих друг другу лагеря. События последнего периода, кажется, показали, что разница в мировоззрениях не препятствует деловым отношениям двух государств и установлению нового и дружественного сотрудничества. Период противостояния во внешней политике может закончиться раз и навсегда. В действительности, интересы Германии с СССР нигде не сталкиваются. Жизненные пространства Германии и СССР прилегают друг к другу, но в столкновениях нет естественной потребности. Имперское правительство придерживается того мнения, что между Балтийским и Черным морями не существует вопросов, которые не могли бы быть урегулированы к полному удовлетворению обоих государств. Назавтра Шуленбург ответил, что „Молотов с величайшим интересом выслушал информацию, которую мне было поручено передать, назвал ее крайне важной и заявил, что он сразу же передаст

ее своему правительству. Он также заявил, что Советское правительство тепло приветствует германские намерения улучшить отношения с Советским Союзом"[15]. В ответной телеграмме Риббентроп заверил Шуленбурга, что „вопросы, поднятые господином Молотовым, соответствуют германским пожеланиям"[16]. Гитлер торопится подписать пакт со Сталиным до вторжения в Польшу и настаивает на как можно более быстром визите Риббентропа в Москву для его обсуждения и подписания. 19 августа Молотов передал Шуленбургу советский проект пакта о ненападении; он завершается постскриптумом, в котором говорится, что „настоящий договор вступает в силу только в случае одновременного подписания специального протокола по внешнеполитическим вопросам, представляющим интерес для высоких договаривающихся сторон. Протокол является составной частью пакта"[17]. Л. Гинцберг особенно подчеркивает, что *концепция секретного протокола как неотъемлемой части пакта складывалась по инициативе Москвы*[4]. 20 августа Риббентроп телеграфирует Шуленбургу текст личной телеграммы Гитлера Сталину, в которой, среди прочего, говорится: „Я убежден, что дополнительный протокол, желаемый советским правительством может быть выработан в возможно короткое время, если ответственный государственный деятель Германии сможет лично прибыть в Москву для переговоров. Я еще раз предлагаю принять моего министра иностранных дел во вторник, самое позднее в среду, 23 августа"[18]. 21 августа Сталин ответил согласием, и 23 августа Риббентроп прибыл в Москву. В этот же день он встречался со Сталиным и Молотовым. Пакт о ненападении и секретный дополнительный протокол были подписаны. Назавтра Сталин уже пил с Риббентропом за здоровье фюрера. Невозможно не согласиться с мнением В. Дашичева и И. Хоффмана о том, что „секретные протоколы к пакту, их подписание и реализация, превратили Сталина де-юре в „сообщника" Гитлера и участника военной агрессии"[19]. „Заключение нами соглашения с Германией, - сообщал Наркоминдел 1 июля 1940 года советскому послу в Японии, - было продиктовано желанием развязать войну в Европе"[20]. 27 сентября, когда Рейхсвер и Красная Армия уже захватили всю Польшу, стерев ее с карты Европы, Риббентроп вновь прибыл в Москву. 28 сентября вместе с Молотовым они подписали новый договор о дружбе и границе между СССР и Германией, а таже внесли изменения в соглашение, заключен-

ное месяц назад: „подписанный 23 августа 1939 г. секретный дополнительный протокол изменяется таким образом, что территория Литовского государства включается в сферу интересов СССР, так как с другой стороны Люблинское воеводство и части Варшавского воеводства включаются в сферу интересов Германии“[21].

Суворов отмечает, что „в 1939-1940 годах все европейские соседи СССР стали жертвами советской агрессии. Сталин захватил территории с населением более 23 миллионов человек. В захватнических боях, предшествовавших германскому нападению, погибли сотни тысяч советских солдат. На захваченных территориях Красная армия и войска НКВД творили страшные злодеяния. Советские концлагеря были забиты пленными солдатами, офицерами и [гражданскими лицами] из европейских стран“. 9 сентября 1940 года Сталин определил присоединение в результате тайного сговора с Гитлером территорий Западной Украины, Западной Белоруссии, Прибалтики и Бессарабии как расширение границ социализма за счет „капиталистического лагеря“[22].

2. ПЛАНИРОВАНИЕ СТАЛИНЫМ НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ВОЙНЫ

Еще в 1916 году Ленин писал, что мировая революция произойдет в результате второй империалистической войны. В 1927 году Сталин говорил о том, что вторая империалистическая война совершенно неизбежна, как неизбежно и вступление Советского Союза в эту войну: „Мы выступим, но выступим последними, чтобы бросить на чашу весов гирю, которая могла бы перевесить“.

Г. Куманев и Э. Шкляр отмечают, что „после прихода Гитлера к власти контакты между СССР и Германией продолжались. Стали, в частности, известны документы о встрече в подмосковном лесу, в ноябре 1933 года, гитлеровского эмиссара фон Твардовски с посланцем Сталина - К. Радеком. Завязавшиеся связи имели продолжение: в августе 1934 года пресс-атташе германского посольства Баум, представители Гитлера Оберлендер и Кох на той же даче, в том же лесу вновь встречались с „советским другом“[3]. Троцкий писал, что „Сталин окончательно

развязал руки Гитлеру, и подтолкнул Европу к войне". Еще 21 июня 1939 он предвидел, что „СССР придвинется всей своей массой к границам Германии как раз в тот момент, когда Третий рейх будет вовлечен в борьбу за новый передел мира".

Советские историки долгие годы утверждали, что заседания Политбюро 19 августа 1939 года вообще не было. Однако в опубликованной в январе 1993 года статье Д.А. Волкогонов свидетельствует: заседание в тот день было и он сам держал протоколы. Еще не имея этих документов, на основании общего анализа собранных данных, Суворов утверждал, что „на этом заседании было принято решение втянуть Европу в войну, оставаясь нейтральными, а когда противники истощат друг друга, бросить на чашу весов всю мощь Красной Армии". В 1994 году в Особом архиве был обнаружен текст сталинской речи: „Вопрос мира или войны вступает в критическую для нас фазу. Если мы примем предложение Германии о заключении с ней пакта о ненападении, она, конечно, нападет на Польшу, и вмешательство Франции и Англии в эту войну станет неизбежным. Западная Европа будет подвергнута серьезным волнениям и беспорядкам. В этих условиях у нас будет много шансов остаться в стороне от конфликта, и мы сможем надеяться на наше выгодное вступление в войну. Опыт двадцати последних лет показывает, что в мирное время невозможно иметь в Европе коммунистическое движение, сильное до такой степени, чтобы большевистская партия смогла захватить власть. Диктатура этой партии становится возможной только в результате большой войны. Мы сделаем свой выбор, и он ясен. Мы должны принять немецкое предложение и вежливо отослать обратно англо-французскую миссию. Первым преимуществом, которое мы извлечем, будет уничтожение Польши до самых подступов к Варшаве, включая украинскую Галицию. Германия предоставляет нам полную свободу действий в Прибалтийских странах и не возражает по поводу возвращения Бессарабии СССР. Остается открытым вопрос, связанный с Югославией. У нас будет широкое поле деятельности для развития мировой революции".

Заявление Габриэля Городецкого о том, что Сталин никогда не произносил этой речи и ее текст сфальсифицирован, основано на неверном утверждении, что „23-го августа, когда Риббентроп прибыл в Москву, все эти территориальные изменения не стояли на повестке дня", и что „в „речи" события из будущего пере-

несены в настоящее". Заявление Г. Городецкого не соответствует истине хотя бы потому, что, как было указано выше, в тот же день, 19 августа 1939 года, Молотов передал Шуленбургу советский проект пакта о ненападении, в котором говорится, что „настоящий договор вступает в силу только в случае одновременного подписания специального протокола по внешнеполитическим вопросам". Очертания будущих протоколов обсуждались Ю. Шнурре и Г. Астаховым еще 24 июля! В ходе этой беседы „Астахов согласился с тем, что Данциг так или иначе будет возвращен Германии, и в ее пользу „каким-либо образом" будет решен вопрос о польском коридоре. В ходе беседы он дважды касался Прибалтийских государств и осведомился у Шнурре, есть ли у Германии далеко идущие политические намерения относительно этих стран. В ответ Шнурре заявил: „Что касается конкретно прибалтийских стран, то мы готовы в отношении их повести себя так, как в отношении Украины. От всяких посягательств на Украину мы начисто отказались".

Немецкий дипломат добавил: „Еще легче было бы договориться относительно Польши". 29 июля статс-секретарь МИД Германии Э. Вайцзеккер направил Шуленбургу инструкцию: во время предстоящей беседы с Молотовым подтвердить сказанное Шнурре"[4]. Иначе говоря, Сталин уже в июле 1939 года фактически договорился с Гитлером о разделе Европы.

Через четыре дня в Кремле был подписан пакт Молотова - Риббентропа.

Г. Куманев и Э. Шкляр отмечают, что „в кругу своих ближайших соратников Сталин открыто признавался, что [заключенный 23 августа 1939 года] пакт – своего рода „игра". Как вспоминает маршал Г.К. Жуков, у Сталина „была уверенность, что именно он обведет Гитлера вокруг пальца в результате заключения пакта"[25]. „7 сентября 1939 года в беседе с руководством Коминтерна Сталин заявил, что „война идет между двумя группами капиталистических стран, за передел мира, за господство над миром. Мы не прочь, чтоб они подрались хорошенько и ослабили друг друга. Неплохо, если руками Германии будет расшатано положение богатейших капиталистических стран (в особенности Англии). Гитлер, сам этого не понимая, расстраивает, подрывает капиталистическую систему. Мы можем маневрировать, подталкивать одну сторону против другой. Пакт о ненападении

в некоторой степени помогает Германии. Следующий момент - подталкивать другую сторону"[26]. Еще более конкретно высказался 3 июля 1940 года В.М. Молотов в беседе с министром иностранных дел Литвы в Москве: „Сейчас мы убеждены более чем когда-либо, что гениальный Ленин не ошибался, уверяя нас, что вторая мировая война позволит нам завоевать власть во всей Европе, как первая мировая война позволила захватить власть в России. Мы придем со свежими силами, хорошо подготовленные, и на территории Западной Европы произойдет решающая битва между пролетариатом и загнивающей буржуазией, которая и решит навсегда судьбу Европы". Речь шла о наступлении Красной Армии на оккупированную Германией Европу под лозунгами национального и социального освобождения. Г. Куманев и Э. Шкляр считают, что „военные успехи Германии и крупные потери СССР в советско-финской войне были серьезно оценены и осмыслены Сталиным - не без раздражения и озлобления, но с решительным намерением ускорить перевооружение нашей армии, форсировать производство современного оружия, современной техники, обучить военные кадры грамотно ею пользоваться"[3].

4 марта 1941 года газета „Правда" писала: „Разделите своих врагов, временно удовлетворите требования каждого из них, а затем разбейте их поодиночке, не давая им возможности объединиться". 6 мая 1941 года газета „Правда" писала в передовой статье: „за рубежами нашей родины полыхает пламя второй империалистической войны. Вся тяжесть ее неисчислимых бедствий ложится на плечи трудящихся. Народы не хотят войны. Их взоры устремлены в сторону страны социализма, пожинающей плоды мирного труда. Они справедливо видят в вооруженных силах нашей Родины - Красной Армии и Военно-Морском Флоте - надежный оплот мира. В нынешней сложной международной обстановке нужно быть готовым ко всяким неожиданностям." Это тот же тон, те же слова, что произносятся перед каждым коммунистическим „освобождением": совершенное 17 сентября 1939 года нападение на Польшу было, выражаясь словами В.М. Молотова, совершено „чтобы вызволить польский народ из злополучной войны, куда он был ввергнут неразумными руководителями, и дать ему возможность зажить мирной жизнью", нападение на Японию 9 августа 1945 было представлено как „единственное средство, способное освободить народы

от дальнейших жертв и страданий и дать возможность японскому народу избавиться от опасностей и разрушениий"[27]. В начале мая 1941 Сталин готовил армию и народ к новым „освободительным" походам, а кроме Германии „освобождать" было уже некого.

Различные источники сообщают о том, что „5 мая 1941 года на банкете в Кремле после торжественного заседания по случаю выпуска курсантов военных училищ был провозглашен тост за мирную сталинскую внешнюю политику. В ответ на него Сталин взял слово. „Разрешите внести поправку, - сказал он. - Мирная внешняя политика обеспечила мир нашей стране. Мирная политика дело хорошее. Мы до поры до времени проводили линию на оборону - до тех пор, пока не перевооружили нашу армию, не снабдили армию современными средствами борьбы. А теперь, когда мы нашу армию реконструировали, насытили техникой для современного боя, кода мы стали сильны, - теперь надо перейти от обороны к наступлению. Проводя оборону нашей страны, мы обязаны действовать наступательным образом. От обороны перейти к военной политике наступательных действий. Нам необходимо перестроить наше воспитание, нашу пропаганду, агитацию, нашу печать в наступательном духе. Красная Армия есть современная армия, а современная армия - армия наступательная". Трудно не выразить недоумения, возникающего при чтении анализа этой сталинской речи Г. Городецким: „читатель должен обратить внимание на то, что Сталин несколько раз повторяет слово „наступление", означающее контрудар, т.е. противоположное „нападению", что означало бы войну, начинаемую по собственной инициативе"[28]. В своей сорокаминутной речи перед выпускниками военных академий, сказанной в тот же день, И. Сталин сказал: „Нет обороны без наступления. Надо воспитывать армию в духе наступления. Надо готовиться к войне". Прямо апеллируя к Ленину, Сталин заявил, что представление о большевиках как о пацифистах, „которые вздыхают о мире" и „начинают браться за оружие только в том случае, если на них напали" является неверным. Большевики, продолжал он, „сами будут нападать, если война справедливая, если обстановка подходящая, если условия благоприятствуют..." Как отмечает Р.Ч. Раак, „поражение под Варшавой заставило Ленина временно отложить попытку советизировать Запад, но там, где Ленин потерпел неудачу в 1920 году, Сталин в сотруд-

ничестве с Гитлером добился успеха в 1939"[29]. В 1940-1941 г.г. он в своих выступлениях неоднократно подчеркивал необходимость активной обороны, „включающей в себя и наступление".

3. СТРАТЕГИЧЕСКАЯ И ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ВОЙНЫ

Выражаясь словами М. Мельтюхова, основной внешнеполитической целью СССР было совершение „мировой пролетарской революции", или, говоря нормальным языком, достижение мирового господства[30]. Согласно полевому уставу РККА 1939 года „рабоче-крестьянская Красная Армия будет самой нападающей из всех когда-либо нападавших армий".

Эта установка фигурировала не только в официозной риторике, но и в стратегическом планировании. Герой Советского Союза, полковник С.А. Ваупшасов писал: „В те грозные предвоенные годы возобладала доктрина о войне на чужой территории. Она имела ярко выраженный наступательный характер"[31]. О том же говорил в речи на XVIII съезде ВКП(б) в марте 1939 года Герой Советского Союза полковник (впоследствии - генерал-полковник) А.И. Родимцев: „В грядущих боях мы будем действовать на территории противника. Так предписывают наши уставы"[32]. Газета „Правда" 18 августа 1940 года писала: „И когда маршал революции товарищ Сталин даст сигнал, сотни тысяч пилотов, штурманов, парашютистов обрушатся на голову врага всей силой своего оружия, оружия социалистической справедливости. Советские воздушные армии понесут счастье человечеству!"

Критики В. Суворова утверждают, что „никому не известно о каком-либо документе, плане, который подтверждал бы замысел Сталина совершить нападение на Германию в определенный момент"[33]. Г. Городецкий говорит, что „для подготовки наступления требуются тысячи документов, а я не обнаружил ни одного. Таких документов попросту нет"[34]. Это не совсем так. Во-первых, по свидетельству маршала А.М. Василевского все указания Сталин давал устно. Выражаясь словами самого Сталина, сказанными им с трибуны съезда XVI съезда партии под „гомерический хохот всего зала", „делайте, что хотите, но не оставляйте документов, не оставляйте следов". Сам диктатор

следов и не оставлял: описывая совещания у Сталина, тогдашний зампред Совнаркома А.И. Микоян свидетельствует: „Чаще всего нас было пять человек. Протоколирования или каких либо записей по ходу заседаний не велось“[35]. Об этом же свидетельствует и генерал-полковник авиации, конструктор А.С. Яковлев: „на совещаниях у Сталина в узком кругу не было стенографисток, секретарей, не велось каких либо протокольных записей“[36]. Во-вторых, „важ-но не наличие или отсутствие какого-либо документа, а реальные действия, предпринимаемые для осуществления тех или иных замыслов, подтверждаемые другими документами“[36]. Последняя версия одного из таких документов опубликована полностью[37], некоторые другие опубликованы лишь частично; приложенные к документу схемы развертывания войск и карты не опубликованы вообще.

В первых редакциях плана, разработка которого началась в октябре 1939 года, основная задача советских войск определялась как „нанесение поражения германским силам, сосредотачивающимся в Восточной Пруссии и в районе Варшавы. Соответственно войскам, например, Северо-Западного фронта ставилась задача „атаковать противника с конечной целью совместно с Западным фронтом нанести поражение его группировке в Восточной Пруссии и овладеть последней.“ Таким образом, даже в первых вариантах плана основное внимание уделялось наступательным действиям со стороны СССР. Одновременно обращает на себя внимание повторяющееся из документа в документ утверждение, что „документальными данными об оперативных планах вероятных противников Генеральный штаб Красной Армии не располагает“[30]. Впрочем, еще в мае 1940 года комиссия ЦК ВКП(б) в составе А.А. Жданова, Г.М. Маленкова и Н.А. Вознесенского пришла к выводу, что „Наркомат Обороны не имеет в лице Разведывательного управления органа, обеспечивающего Красную Армию данными об организации, состоянии, вооружении, подготовке и развертывании иностранных армий“[38]. В своих воспоминаниях маршал Г.К. Жуков пишет, что „с первых послевоенных лет и по настоящее время кое-где в печати бытует версия о том, что накануне войны нам якобы был известен план „Барбаросса“, направление главных ударов, ширина фронта развертывания немецких войск, их количество и оснащенность. Никакими подобными данными, насколько мне известно, ни советское правительство, ни нарком обороны, ни

Генеральный штаб не располагали"[33]. 20 марта 1941 года тогдашний начальник ГРУ Ф.И. Голиков (1900-1980) докладывал: „Наиболее возможным сроком начала действий против СССР будет являться момент победы над Англией или после заключения с ней почетного для Германии мира. Слухи и документы, говорящие о неизбежности весной этого года войны против СССР, необходимо расценивать как дезинформацию исходящую от английской и даже, может быть, германской разведки"[39]. Совершенно непонятно, отчего Г. Городецкий пришел к выводу о том, что „Русские все время знали о действительных намерениях Германии, имели о них полную информацию"[34]. Напротив, документы свидетельствуют о том, что Сталин готовил план овладения Восточной Пруссией, не имея данных о конкретных деталях подготовки германским руководством нападения на СССР.

Ю.А. Горьков в своей статье цитирует план, утвержденный Сталиным 14 октября 1940 года под названием „Соображения об основах стратегического развертывания вооруженных сил Советского Союза на Западе и на Востоке на 1940-1941 годы". Автор отмечает, что предусматривалось два варианта развертывания войск. По первому из них „главные силы Красной Армии на западе должны быть развернуты к югу от Брест-Литовска, с тем, чтобы мощными ударами в направлении Люблин, Краков и далее на Бреслау на первом этапе войны отрезать Германию от Балканских стран, лишить ее важнейших экономических баз". По второму варианту главные силы должны быть развернуты к северу от Брест-Литовска, с задачей нанести поражение главным силам германской армии в пределах Восточной Пруссии и овладеть последней"[37]. Отсюда автор странным образом констатирует, что „все документы оперативного плана поволяют сделать вывод о том, что Советский Союз не готовился к нападению на Германию первым". Значит, Советский Союз готовился к нападению на Германию вторым? Кто же должен был напасть на нее первым, перед тем, как советское командование будет выбирать между планом отрезания Германии от Балканских стран и лишения ее важнейших экономических баз и задачей овладения Восточной Пруссией?

К 11 марта 1941 года была готова новая, уточненная редакция плана. В ней отмечалось, что „наиболее выгодным является развертывание наших главных сил к югу от реки Припять с тем,

чтобы мощными ударами на Люблин, Радом и на Краков поставить себе первую стратегическую цель: разбить главные силы немцев и в первый же этап войны отрезать Германию от Балканских стран, лишить ее важнейших экономических баз. Дальнейшей стратегической целью для главных сил Красной Армии в зависимости от обстановки может быть поставлено - развитие операции через Познань на Берлин или действия на Юго-Запад на Прагу и Вену или удар на Севере на Торунь и Данциг с целью обхода Восточной Пруссии"[37].

После назначения Г.К. Жукова [в январе 1941 года] начальником генерального штаба была разработана „очень важная директива, нацеливающая командующих округов и флотов на Германию, как на самого вероятного противника в будущей войне"[40]. 6 мая 1941 эта директива была передана в штабы приграничных военных округов. За полвека в печать из всей этой совершенно секретной директивы просочилась лишь одна фраза: „...быть готовым по указанию Главного командования нанести стремительные удары для разгрома противника, перенесения боевых действий на его территорию и захвата важных рубежей"[41]. Советская цензура пропустила только дну фразу, но и она вполне раскрывает смысл всего так тщательно скрываемого документа.

Эта линия прослеживается и в „Соображениях по плану стратегического развертывания Вооруженных Сил Советского Союза" по состоянию на 15 мая 1941 года: стратегическая цель состоит в том, чтобы „разгромить крупные силы бывшей Польши и Восточной Пруссии. Ближайшая задача - разгромить германскую армию восточнее реки Висла и на Краковском направлении, выйти на р. Нарев, Висла и овладеть районом Катовице"[37]. 24 мая 1941 года в Кремле состоялось совещание Сталина и Молотова с руководителями армии, на котором уточнялись задачи войск согласно изложенному плану[42]. Из этого Ю. Горьков таинственным образом заключает, что „если мы возвратимся к советским оперативным планам, то увидим, что основной стратегической целью был „разгром крупных сил немецкой армии", а не захват чужих стран и овладение территорией"[37].

13 мая 1941 года состоялось первое заседание Оборонной комиссии Комитета по делам кинематографии при Совнаркоме. На нем Всеволод Вишневский отметил, что „дело идет явным образом к новой войне" и предложил темы „полнометражных сценариев", которые можно было экранизовать. Среди них:

„Прорыв укрепленного района у германской границы", „Парашютный десант в действиях против укрепленных районов", „Рейды танков и конницы во взаимодействии с авиацией". Трудно не согласиться с мнением В.А. Невежина о том, что „даже далекому от военного дела человеку ясно, что подобная тематика отнюдь не предназначалась для пропагандистского обеспечения оборонительных операций Красной Армии"[43].

14 мая 1941 года был собран Главный военный совет. На нем рассматривались итоги инспекторской проверки политзанятий в частях Красной Армии. Начальнику Главного управления политической пропаганды Красной Армии А. И. Запорожцу было предложено представить проект директивы. В проекте „О задачах политической пропаганды в Красной Армии", отмечалось, что „весь личный состав Красной Армии должен проникнуться сознанием того, что возросшая политическая, экономическая и военная мощь Советского Союза позволяет нам осуществлять наступательную внешнюю политику, решительно ликвидируя очаги войны у своих границ, расширяя свои территории"[30]. „После обсуждения на Главном военном совете проект в июне 1941 года был утвержден.

В то же время офицерами политуправления КА был подготовлен доклад, озаглавленный „Современное международное положение и внешняя политика СССР". 26 мая 1941 года А.И. Запорожец направил его А.А. Жданову и Г.М. Маленкову. В докладе говорилось о том, что против Германии нужно применить „наступательную стратегию, подкрепленную мощной техникой". На полях рукой начальника управления пропаганды и агитации ЦК Георгия Александрова было помечено: „Война с Германией". Офицеры, составлявшие доклад, не могли обойти вопрос о пакте Молотова-Риббентропа, наличие которого противоречило установке на наступательную войну против Германии. С одной стороны, они отмечали, что советско-германский договор о ненападении оправдал себя, ибо позволил избежать поворота гитлеровской военной машины против СССР в условиях лета 1939 г.[44]. С другой стороны, авторы утверждали: было бы ошибкой считать, „что столкновение между СССР и Германией невозможно и что якобы германские национал-социалисты отказались от своих антисоветских планов. События последних лет показывают нам с отчетливой ясностью, что всякий пакт может быть в любую минуту превращен в клочок бумаги". Говоря о

политике СССР в отношении Германии после подписания пакта о ненападении, авторы характеризовали ее следующим образом: „Это - временная политика, которая вызывалась необходимостью накопить достаточно сил против капиталистического окружения". Они констатировали, что такие силы уже накоплены и наступил новый период внешней политики СССР. Здесь авторы сочли уместным сослаться на Ленина, „который расценивал наше мирное строительство как средство накопления сил". Приводилась следующая цитата из ленинского выступления от 26 ноября 1920 года: „Но как только мы будем сильны настолько, чтобы сразить весь капитализм, мы немедленно схватим его за шиворот"[44]. Перечисляя и другие архивные свидетельства, В.А. Невежин заключает, что „всего в архивах сохранилось восемь текстов пропагандистских материалов (главным образом, проектов директив), над которыми в мае-июне 1941 года велась активная и спешная работа. Все эти материалы свидетельствуют о намерениях большевистского руководства развернуть перестройку пропаганды в духе наступательной войны".

В начале июня 1941 года на заседании Главного Военного Совета А.А. Жданов заявил: „Мы стали сильнее, можем ставить более активные задачи. Война с Польшей и Финляндией не были оборонительными войнами. Мы уже вступили на путь наступательной политики". Об этом же писал А.С. Щербаков: „Ленинизм учит, что страна социализма, используя благоприятно сложившуюся международную обстановку, должна и обязана будет взять на себя инициативу наступательных военных действий против капиталистического окружения с целью расширения фронта социализма. До поры до времени СССР не мог приступить к таким действиям ввиду военной слабости. Но теперь эта военная слабость отошла в прошлое. Опираясь на свое военное могущество, используя благоприятную обстановку, СССР освободил Западную Украину и Западную Белоруссию, вернул Бессарабию, помог трудящимся Литвы, Латвии и Эстонии организовать советскую власть. Таким образом, капитализму пришлось потесниться, а фронт социализма расширен. Международная обстановка крайне обострилась, военная опасность для нашей страны приблизилась как никогда. В этих условиях ленинский лозунг „на чужой земле защищать свою землю" может в любой момент обратиться в практические действия"[45].

Нельзя не согласиться с выводом В. Невежина о том, что „22

июня 1941 года пропагандистская машина большевистской партии работала для обоснования исключительно наступательной войны"[44]. Вопрос о том, когда же началась эта работа, еще предстоит уточнить. Нам ближе мнение М. Мельтюхова о том, что СССР занимался планированием войны с Германией с октября 1939 года[45], а то и еще раньше.

4. ПОДГОТОВКА СТАЛИНА К НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ВОЙНЕ: ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

4.1 – Новый закон о всеобщей воинской обязанности

1 сентября 1939 года - в день, когда германская армия начала войну против Польши, - четвертая внеочередная сессия Верховного Совета СССР приняла закон о всеобщей воинской обязанности, согласно которому все мужчины - граждане СССР обязаны отбывать военную службу в составе Вооруженных Сил. По новому закону призывной возраст был снижен с 21 до 19 лет, а для окончивших среднюю школу и соответствующие ей учебные заведения - до 18. Суворов пишет, что „набор 1939 года был огромным, но осенью 1941 года почти всех призванных предстояло отпустить по домам: согласно принятому закону срок действительной воинской службы для рядовых и младших командиров сухопутных войск определялся в два года. Следовательно, проводя массовый призыв осенью 1939 года, Сталин установил для себя макимально возможный срок вступления в войну - лето 1941 года".

К 1 сентября 1939 года численность Красной Армии составляла два миллиона человек, к 1 января 1941 года превысила четыре миллиона двести тысяч, к 21 июня 1941 года достигла пяти с половиной миллионов человек.

4.2 – Резкий рост военных расходов и производства военной техники

Много лет производством вооружения в СССР ведал наркомат оборонной промышленности. 11 января 1939 года он был упразднен, а вместо него были созданы четыре новых наркомата:

авиационной промышленности, вооружений, боеприпасов и судостроения, занимавшийся строительством подводных лодок. М. Мельтюхов сообщает, что только прямые военные ассигнования возросли с 25% всех бюджетных расходов в 1939 году до 32,6% в 1940. Ежегодный прирост военной продукции в 1938-1940 годах составлял 39%, втрое превосходя прирост всей промышленной продукции. Производство боеприпасов только в первом полугодии 1941 года выросло на 66,4%. Всего за 1939-й - первую половину 1941 года войска получили от промышленных предприятий 92,4 тысячи орудий и минометов (к 22 июня 1941 года их было в Вооруженных Силах СССР 115,9 тысяч штук), 7400 танков (их число к началу войны было доведено до 23300) и 17700 боевых самолетов численность которых превысила 22400 штук. Было создано более трехсот пороховых, патронных и снарядных заводов. В 1939 году Германия вступила во Вторую мировую войну, имея 57 подводных лодок; у Советского Союза в сентябре того же года их было 165, к 22 июня 1941 года их было уже 218, не считая еще 91, находившихся в стадии постройки. Справедливым кажется мнение М. Мельтюхова о том, что „по количеству боевой техники Советские Вооруженный Силы действительно превосхо-дили армию любой другой страны“[45].

4.3 – Милитаризация партии

29 августа 1939 года Политбюро приняло постановление „Об отборе 4000 коммунистов на политработу в РККА“. 13 марта 1940 года Политбюро приняло постановление „О военной переподготовке, переаттестовании работников партийных комитетов и о порядке их мобилизации в РККА“, среди прочего, предусматривавшее присвоение всем номенклатурным партийным работникам воинских званий, „с тем, чтобы они в любой момент призыва в РККА и РККФ могли выполнять работу на должностях, соответствующих их квалификации“. „Какая у партийного воротилы квалификация, кроме секретаря райкома? - вопрошает Суворов, и тут же дает ответ: – Их и намечают использовать секретарями райкомов (горкомов, обкомов и пр.) и после призыва в армию“. С мая 1940 по февраль 1941-го были переаттестованы 63 тысячи руководящих работников партийных комитетов. В дополнение к этому 17 июня 1941 года Политбюро приняло

еще одно постановление „Об отборе 3700 коммунистов на политработу в РККА".

Партийных функционеров, действительно, призывали для работы по советизации захваченных территорий, ибо, как писал еще начальник штаба РККА, председатель РВС и замнаркома обороны маршал Тухачевский (1893-1937), „каждая занятая нами территория является после занятия уже советской территорией, где будет осуществляться власть рабочих и крестьян", а советские штабы „должны вовремя давать указания политическому управлению и соответствующим органам о подготовке ревкомов и прочих местных административных аппаратов для тех или иных районов"[46]. Красная Армия на своих штыках принесет соседям счастливую жизнь вместе с заранее созданными органами местной власти (Гитлер, кстати, стал на ту же точку зрения: Вермахт сокрушает противника, СС - устанавливает новый порядок). О том же писал и начальник оперативного управления РККА, ответственный исполнитель разрабатываемых в советском генштабе оперативных планов войны Владимир Триандафилов (1894-1931): „Надо в короткий срок (2-3 недели) справиться с советизацией целых государств. Все ответственные работники и даже часть технического персонала должны быть привезены с собой. Число этих работников будет огромно".

Одновременно с этим в партийные структуры активно кооптировались военные кадры. Так, на XVIII Всесоюзной партконференции (февраль 1941 г.) в состав центральных органов ВКП(б) вошли десять военачальников, в том числе начгенштаба Г.К. Жуков, начальник политуправления А.И. Запорожец, командующие военными округами и флотами. Сверху донизу заработал громоздкий, но достаточно действенный бюрократический механизм, позволявший центру через партийные организации осуществлять целенаправленное руководство в интересах подготовки к войне".

4.4 – Развитие воздушно-десантных войск наступательного назначения

В 1930 году Сталин создал Воздушно-Десантные Войска. Суворов приводит подробные данные об их быстром развитии: за первые две пятилетки было призведено 24708 боевых самолетов[2]. К началу второй мировой войны Сталин имел более миллио-

на подготовленных десантников-парашютистов: в двести раз больше, чем все страны мира, включая Германию, вместе взятые[2]. В 1937 году в стране было 12 летных школ ВВС, к концу 1940 года – уже 41. К началу 1941 года Осоавиахимом, руководимым генерал-майором Павлом Кобелевым, была подготовлена 121 тысяча летчиков[2].

Десантные войска не предназначались для отражения агрессии. О задачах авиации свидетельствует, например, директива Наркомата Обороны командованию Прибалтийского ОВО от 14 мая 1941 года: „активными действиями завоевать господство в воздухе и мощными ударами по основным железнодорожным узлам, мостам, перегонам и группировкам войск, нарушить и задержать сосредоточение и развертывание войск противника“[36]. Характер этих „активных действий“ ясен из слов командующего советской авиацией генерал-лейтенанта П.В. Рычагова, который особо подчеркивал необходимость тщательно замаскировать подготовку авиации к нанесению внезапного удара, чтобы „застать всю авиацию противника на ее аэродромах“. По его словам, завоевание господства в воздухе „достигается уничтожением авиации противника на аэродромах с одновременным ударом по ее [авиации] тылам (фронтовые базы, ремонтные органы, склады оружия и боеприпасов“.

Для достижения этих целей трудились все советские авиаконструкторы, в том числе работавшие в Центральном конструкторском бюро № 29, а проще говоря - в спецтюрьме НКВД. Академик Петр Дузь свидетельствует: „к началу Великой Отечественной войны в ЦКБ-29 был собран цвет советской авиационной науки и техники, лучшие кадры ученых, конструкторов, технологов и производственников, работавших под руководством Андрея Туполева. Рядом, на одной лагерной площадке, окруженной общим забором из колючей проволоки, над своими проектами работали известные авиаконструкторы: Роберт Бартини, Владимир Петляков и некоторые другие“[47]. Авиаконструктор Павел Ивенсен вспоминает, что „Туполев получил чрезвычайно срочное и ответственное задание товарища Сталина: создать первоклассный фронтовой пикирующий бомбардировщик, способный пробить бреши в обороне противника в случае наступления наших армий“. Опытный самолет ТУ-2 был создан и совершил свой первый полет 29 января 1941 года. До конца войны было изготовлено 800 таких самолетов.

4.5 – Формирование новых дивизий всех родов войск и их выдвижение на западные границы

По данным, приводимым Суворовым, „с сентября 1939 по июнь 1941 года было развернуто 125 новых стрелковых дивизий. Кроме того, только за год, с июня 1940 года по июнь 1941 года, была сформирована 61 танковая дивизия. За неполный год, с июля 1940 года по июнь 1941, были сформированы 79 новых авиационных дивизий[2].

Территория СССР была разделена на шестнадцать военных округов. Восемь округов были приграничными, а восемь других границ с иностранными государствами не имели и считались внутренними. 13 мая 1941 года семь командующих внутренними военными округами (Московский ВО - исключение) получили директиву особой важности: в каждом из семи округов развернуть по одной новой армии, на формирование армий обратить все штабы и войска округов, командующим округами лично возглавить новые армии и ровно через месяц, 13 июня 1941 года, начать перегруппировку на запад. 12-15 июня 1941 года западным военным округам был отдан приказ: все дивизии, расположенные в глубине, выдвинуть ближе к государственным границам“[48]. Немецкое руководство об этом знало: Геббельс писал в своем дневнике: „Русские сосредотачиваются в больших количествах в отдельных пунктах“[49]. Суворов утверждает, что „13 июня 1941 года и в течение нескольких последующих дней в Советском Союзе были введены в действие все механизмы войны“[2]. Более того, „Политбюро ЦК ВКП(б) возложило на начгенштаба Г.К. Жукова общее руководство Юго-Западным и Южным фронтами, а на заместителя наркома обороны К.А. Мерецкова - Северным“[50] - фронты созданы и их руководители определены до германского нападения.

Одновременно с переброской войск шло интенсивное перебазирование боеприпасов, более ста тысяч тонн горючего, авиации. „К 22 июня в западных военных округах имелось 64 истребительных, 50 бомбардировочных, 7 разведывательных и 9 штурмовых авиаполков, в которых насчитывалось 7133 самолета; имелось также четыре дальнебомбардировочных корпуса и одна дивизия, в которых насчитывалось 1339 самолетов.“ В мае 1941 года в Красную Армию мобилизовали 800 тысяч резервистов; М. Мельтюхов уточняет - 802,1 тысячи человек,

24% приписного состава по плану мобилизации; была осуществлена поставка в войска 26 тысяч 620 лошадей[30]. Достаточно странно выглядит ничем не обоснованное утверждение Ю. Горькова об „отсутствии решения политического руководства, в соответствии с которым СССР первым бы приступил к приготовлениям к войне, первым бы провел мобилизацию, сосредоточение и развертывание войск на наивыгоднейших рубежах“[37] - именно этим и занималась Советская Армия в июне 1941 года. Л.М. Сандалов свидетельствует: „все предвоенные учения по своим замыслам и выполнению ориентировали войска главным образом на осуществление прорыва укрепленных позиций. Командно-штабные учения и выходы в поле в течение всего зимнего периода и весны 1941 года проводились исключительно на наступательные темы“[30]. На этом фоне утверждения Г. Городецкого о том, что „можно сказать с уверенностью, что дислокация войск на западной границе была оборонительной“ и о том, что „с мая 40-го года военные приказы носят ярко выраженный оборонительный характер“[34] выглядят откровенным издевательством.

4.6 – Концентрация ударных армий на Румынской границе

Суворов отмечает, что на 21 июня 1941 года у Сталина было шестнадцать ударных армий, имевших более тысячи танков каждая, причем три из них - 6-я, 9-я и 10-я - после полного укомплектования должны были иметь в своем составе 2350 танков, 698 бронемашин, свыше 4000 орудий и минометов, более 250 000 солдат и офицеров[2]. Всего в Первом стратегическом эшелоне было около трех миллионов солдат и офицеров, 170 танковых, моторизованных, кавалерийских и стрелковых дивизий. 56 из них находились вплотную к государственным границам.

Среди трех исключительно мощных армий одна выделяется особо - 9-я. В июне 1941 года 9-я армия была недостроенным каркасом самой мощной армии мира. Всего в ней должно было быть семь корпусов, двадцать дивизий, включая шесть танковых: всего 3341 танк. По количеству это, примерно, весь Вермахт. Эта армия - единственная, во главе которой стоял генерал-полковник. Вся эта громадная мощь концентрировалась на румынской границе.

В июне 1940 года, когда германская армия воевала во Фран-

ции, Жуков по приказу Сталина без всяких консультаций с германскими союзниками оторвал кусок Румынии - Буковину и Бессарабию.

В самом устье Дуная восточный берег реки на участке в несколько десятков километров отошел к Советскому Союзу. Немедленно сюда была двинута заранее сформированная для этого случая Дунайская флотилия.

О том, зачем Сталин захватил Бессарабию, говорит его телеграмма командующему Южным фронтом генералу армии И.В. Тюленеву от 7 июля 1941. Сталин требует любой ценой удерживать Бессарабию, „имея ввиду, что нам территория Бессарабии нужна, как исходный плацдарм для организации наступления". Но наступление из Бессарабии - это наступление на румынские нефтяные поля, а вопрос нефти был для Сталина центральным вопросом стратегии. Вот его заявление от 3 декабря 1927 года: „Воевать без нефти нельзя, а кто имеет преимущество в деле нефти, тот имеет шансы на победу в грядущей войне." М. Мельтюхов отмечает, что „кроме СССР территориальные претензии к Румынии имели Венгрия и Болгария. Советский Союз поддерживал венгерские претензии и был непрочь поспособствовать началу венгеро-румынской войны в начале июля 1940 года, чтобы, тем самым, причинить Германии экономические трудности и поссорить ее возможных союзников"[30].

Новый „освободительный поход" 9-й армии в Румынию мог бы изменить всю стратегическую ситуацию в Европе. Как писал маршал Г.К. Жуков, „слабым местом Германии была добыча нефти, но это в какой-то степени компенсировалось импортом румынской нефти"[51]. Удар 9-й армии должен был быть поддержан создаваемыми в Восточных Карпатах 12-й и 18-й горными армиями. Прямо за их спиной - 19-я армия, самая мощная армия Второго стратегического эшелона. В этой связи также вызывает недоумение утверждение Г. Городецкого о том, что „дислокация Красной Армии была оборонительной и диктовалась возможным вводом немецких войск в Румынию"[34].

По предположению Суворова, „срок начала советской операции „Гроза" был назначен на 6 июля 1941 года". Авторы книги „Начальный период войны", вышедшей под редакцией генерала армии С.П. Иванова признают: „немецкому командованию буквально в последние две недели перед войной удалось опередить наши войска"[52]. Удалось опередить, ибо Сталин не

считал немецкую армию готовой к вторжению; как пишет О. Вишлев, „в советском руководстве допускали, что сосредоточение Вермахта на границе с СССР Гитлер рассматривает пока что лишь как средство политического давления на Советский Союз с целью заставить его на предстоящих переговорах пойти на серьезные уступки, которые позволили бы „рейху" продолжать войну против Англии. Лишь после переговоров, в том случае, если на них не удастся достичь компромисса, полагали в Кремле, военная машина Германии будет приведена в действие"[53]. М. Мельтюхов отмечает, что конкретные меры по заключительной стадии подготовки нападения, предложенные в плане развертывания войск от 15 мая 1941 года, стали осуществляться, а значит и наступление должно было состояться в том же году[30]. Согласно плану от 15 мая необходимо „упредить противника в развертывании и атаковать германскую армию в тот момент, когда она будет находиться в стадии развертывания и не успеет еще организовать фронт и взаимодействие родов войск"[54]. П. Бобылев подчеркивает, что предлагался „упреждающий удар по германской армии". Большая часть мер по „повышению боеготовности" должа была быть завершена к 1 июля 1941 года. Сосредоточение войск Второго стратегического эшелона должно было завершиться позднее - к 10 июля[36]. Гигантские силы были сконцентрировны для нанесения внезапного удара по Германии и Румынии.

А теперь - документ. „Краткий русско-немецкий военный разговорник для бойца и младшего командира", издательство наркомата обороны Союза ССР. Подписано к печати 29 мая 1941 года - за 23 дня до начала войны. Раздел „Передвижение и транспорт": „Куда ведет эта дорога? Пройдет ли грузовая машина через мост? Куда ведут дороги через лес? Покажите на карте направление просек! Приведите проводника!" Это на чьей же территории должны были оказаться советские бойцы и младшие командиры, чтобы спрашивать дорогу по-немецки? Для непонятливых - раздел „Захват железнодорожной станции": „Как называется эта станция? Где телеграф? Прекратите передачу, иначе - застрелю! Как называется следующая станция?". Раздел „Населенный пункт": „Скажите название этого селения. Сколько жителей? Сколько колодцев? Где вода? Можно ли пить? Выпейте сначала сами! Собрать и доставить сюда (столько-то) лошадей (голов скота)! Где полиция? Где бур-

гомистр? Куда ушли немецкие солдаты? Где спрятавшиеся немецкие солдаты? Где заложены мины?". А вот раздел, чтобы понимать ответы: „Скот уведен немецкими войсками. Старшина и бургомистр бежали. Радиостанция разрушена". Итак, немецкие войска бегут, бургомистр исчез... На вопрос „куда [же эта армия собиралась] наступать? ответ дан в списке: „Там нефтяные промыслы". Нефть в Германии не водится, добывали ее в 1941 году только в Румынии. Значит, первый удар - по Румынии.

ЭПИЛОГ

Когда германские войска уже получили приказ о нападении на СССР, 22 июня 1941 года Гитлер писал Муссолини, что „силы русских находятся у нашей границы, и оттуда мы можем постоянно ожидать удара". Впрочем, агрессору не нужны поводы - они изобретаются для пропагандистского оправдания. Еще 11 августа 1939 года в беседе с верховным комиссаром Лиги наций в Данциге Л. Буркхардом Гитлер сказал: „Все, что я предпринимаю, направлено против России. Если Запад так глуп и слеп, что не может этого понять, я буду вынужден договориться с русскими. Затем я ударю по Западу и после его поражения объединенными силами обращусь против Советского Союза"[55]. Гитлер хотел войны и 1 сентября 1939 года ее начал. Но начать он ее смог лишь потому, что ему помог Сталин, который сам хотел захватить и Германию, и Польшу, и Чехословакию, и Венгрию, и Румынию, и Финляндию. М. Мельтюхов отмечает, что пакт Молотова - Риббентропа позволил СССР остаться вне европейской войны, получив значительную свободу действий в Восточной Европе и возможность свалить вину за срыв англо-франко-советских переговоров на Лондон и Париж; Германии пакт с СССР облегчил войну в Европе[45]. Когда Гитлер узнал из телефонного звонка Риббентропа о том, что пакт подписан, он от радости стучал кулаками по стене и кричал: „Теперь весь мир в моем кармане! Теперь Европа принадлежит мне!"[56] Сталин, по свидетельству Хрущева, „ходил, задравши нос, и буквально говорил: „Надул Гитлера, надул Гитлера".

По свидетельству маршала К.К. Рокоссовского (1896-1968) каждый советский командир в своем сейфе имел „особый секретный оперативный пакет" - „Красный литер М". Генерал-майор

М. Грецов свидетельствует: „Конечно, у нас были подробные планы и указания о том, что делать в день „М", все было расписано по минутам и в деталях. Все эти планы были. Но, к сожалению, в них ничего не говорилось о том, что делать, если противник внезапно перейдет в наступление"[57].

Нельзя не согласиться с мнением Ю. Дьякова и Т. Бушуевой: „Настало время сказать горькую правду, что в Советском Союзе свирепствовал самый настоящий фашизм, и что одной из главных причин развязывания второй мировой войны являлся тоталитаризм, овладевший судьбами России и Германии". Война началась только потому, что этого хотели партийно-военные олигархии обеих стран.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1]Ю. Дьяков, Т. Бушуева „Фашистский меч ковался в СССР" Москва. 1992.
[2]Виктор Суворов „Ледокол". „День „М". Москва: ТКО „АСТ" 1994.
[3]Георгий Куманев & Эммануил Шкляр „До и после пакта. Советско-германские отношения в преддверии войны" / „Свободная мысль" № 2, 1995, с.8.
[4]Лев Гинцберг „Советско-германский пакт: замысел и его реализация" / „Отечественная история" № 3, 1996, с.31.
[5]Письмо Гитлера Муссолини, 25.8.1939 [Фельштинский, с. 71].
[6]„Правда", 5 марта 1936 года.
[7]„СССР-Германия. 1939-1941" составитель Ю.Фельштинский, США: „Телекс", 1983.
[8]Советско-германские документы 1939-1941 / Документы из архива ЦК КПСС (на русском и немецком языках) „Новая и новейшая история" № 1, 1993, с. 83-95.
[9]Меморандум статс-секретаря МИДа Германии от 17.4.1939 [Фельштинский, с. 11].
[10]Памятная записка МИДа Германии от 17.5.1939 [Фельштинский, с. 14].
[11]Письмо германского посла в Москве статс-секретарю МИДа, 5.6.1939 [Фельштинский, с. 16].
[12]Меморандум МИДа Германии от 27.7.1939 [Фельштинский, с. 21-22, 24].

[13]Инструкция статс-секретаря МИД Германии послу в Москве, 29.7.1939 [Фельштинский, с. 26].
[14]Телеграмма Риббентропа германскому послу в Москве, 14.8.1939 [Фельштинский, с. 30].
[15]Телеграмма германского посла Шуленбурга Риббентропу 15.8.1939 [Фельштинский, с. 32].
[16]Телеграмма Риббентропа германскому послу в Москве. 16.8.1939 [Фельштинский, с. 39].
[17]Телеграмма германского посла Шуленбурга в МИД Германии 19.8.1939 [Фельштинский, с. 48].
[18]Телеграмма Риббентропа германскому послу Шуленбургу, 20.8.1939 [Фельштинский, с. 52].
[19]И. Хоффман „Подготовка Советского Союза к наступательной войне. 1941 год" / „Отечественная история", № 4, 1993, с. 19.
[20]Советско-германские документы 1939-1941 / Документы из архива ЦК КПСС (на русском и немецком языках) „Новая и новейшая история", № 1, 1993, с. 92.
[21]В.А. Невежин „Речь Сталина 5 мая 1941 года и апология наступательной войны" / „Отечественная история", № 2, 1995.
[22]„Известия", 16 января 1993 года.
[23]Зеэв Бар-Селла (комментарий к статье Г. Городецкого) / „Окна", 29.8.1996, с. 14.
[24]Габриэль Городецкий „О публикации речи Сталина в газете „Ди Вельт" - „Окна", 22.8.1996, с. 2.
[25]Дмитрий Волкогонов „Триумф и трагедия", Москва, 1989.
[26]см.: Ф.И. Фирсов „Архивы Коминтерна и внешняя политика СССР. 1939-1941" / „Новая и новейшая история", № 6, 1992, с. 18.
[27]Заявление советского правительства от 8 августа 1945 года.
[28]Г. Городецкий „Миф «Ледокола»", Москва, 1995, с. 293.
[29]Ричард Раак „Источник из высших кругов Коминтерна о планах Сталина, связанных со второй мировой войной / „Отечественная история", № 3, 1996.
[30]М. Мельтюхов „Споры вокруг 1941 года", „Отечественная история", № 3,1994.
[31]С. Ваупшасов „На тревожных перекрестках: Записки чекиста", Москва: Политиздат, 1971.
[32]„Военно-исторический журнал", № 7, 1979 г.
[33]Орлов А.С. „Так кто же начал войну?" / „Армия", № 8, 1993.
[34]З. Бар-Селла, Т. Шрайман „Анти-Ледокол" (интервью с проф.

Габриэлем Городецким), „Окна“ (еженедельное приложение к газете „Вести“), 2.3.1995.

[35]„Военно-исторический журнал“, № 6, 1976 г.

[36]А.С.Яковлев „Цель жизни: Записки авиаконструктора“, Москва: „Политиздат“, 1968.

[37]„Соображение по плану стратегического развертывания сил Советского Союза на случай войны с Германией и ее союзниками“ - Документ впервые опубликован на немецком языке: V. Danilov “Hat der Generalsstab der Roten Armee einen Praventivschlag gegen Deutchland vorbereitet” в „Австрийском военном журнале“ (“Osterreichische Militarische Zeitschrift”), № 1, 1993; на русском языке в статье Ю. Горькова „Готовил ли Сталин упреждающий удар против Гитлера в 1941 году?“, „Новая и новейшая история“, № 3, 1993.

[38]„Известия ЦК КПСС“, № 1, 1990.

[39]Г.К. Жуков „Из неопубликованных воспоминаний“ / „Коммунист“, № 14, 1988, „Новая и новейшая история“, № 1, 1995.

[40]Н.Г. Кузнецов „Накануне“, Москва: „Воениздат“, 1966, с. 313.

[41]В.А. Анфилов „Бессмертный подвиг“, Москва: „Наука“, 1971, с. 171.

[42]А.М. Василевский „Накануне войны“ / „Новая и новейшая история“, № 6, 1992.

[43]В.А. Невежин „Речь Сталина 5 мая 1941 года“ / „Отечест-венная история“, № 2, 1995.

[44]В.А. Невежин „Собирался ли Сталин наступать в 1941 году? / „Кентавр“, № 1, 1995.

[45]Мельтюхов, М.И. „Идеологические документы мая-июня 1941 года о событиях второй мировой войны“ / „Отечественная история“, № 2, 1995.

[46]М.Н. Тухачевский „Избранные произведения“, Москва: Воениздат, 1964.

[47]Михаил Руденко „Сквозь тернии - в воздух“, „Вести“, 13.2.1996.

[48]„Коммунист“, № 12, 1968 г., с. 68.

[49]М. Гареев „Еще раз к вопросу: готовил ли Сталин превентивный удар в 1941 году?“, „Новая и новейшая история“, № 2, 1994.

[50]„Военно-исторический журнал“, № 9, 1981 г., с. 11.

[51]Г.К. Жуков „Воспоминания и размышления“, Москва: АПН, 1969.

[52]„Начальный период войны“ под редакцией С.П. Иванова, Москва: „Воениздат“, 1974.

[53]О.В. Вишлев „Была ли в СССР оппозиция «германской политике» Сталина накануне 22 июня 1941 года?“ / „Новая и новейшая история“, № 4-5, 1994.
[54]П. Бобылев „К какой войне готовился генеральный штаб РККА в 1941 году?“ / „Отечественная история“, № 5, 1995.
[55]„Военно-исторический журнал“, № 6, 1991.
[56]U. Teske "General Ernst Kostring", Frankfurt a. M., 1965, p. 142; см.: Лев Гинцберг „Советско-германский пакт“ / „Отечественная история“, № 3, 1996.
[57]см.: „Военно-исторический журнал“, № 9, 1965 г..

ИЗДАТЕЛЬСТВО „МОСКВА - ИЕРУСАЛИМ“

предлагает книгу

АЛЕКСАНДРА ВОРОНЕЛЯ

«В ПЛЕНУ СВОБОДЫ»

Сборник историко-литературных эссе, посвященных анализу социальных процессов, преобразивших Россию и Израиль в XX веке. Автор рассматривает эти процессы как своеобразную религиозную Реформацию. Центральная проблематика книги сосредоточена вокруг вопроса о смысле и ограничениях понятия «свобода», о чем говорят заголовки ее разделов:

1. Свобода как неосуществимый проект.
2. Свобода в практическом применении.
3. Свобода как исполнение завета.

304 стр. В Израиле – 36 шек. Вне Израиля, с пересылкой – 16 долларов.

Чеки и заказы посылать по адресу:
"Moscow-Jerusalem", P.O.B. 44050, Tel-Aviv 61440, Israel.

Наум Басовский

КОЭЛЕТ, или ЭККЛЕЗИАСТ
поэтическое переложение

1.

Слова проповедника, сына Давидова, царя в Иерусалиме:

Суета сует все на свете, суета сует, суета -
все усилия бесполезны, и венчает надежды тщета.
Век за веком и род за родом тяжко трудится человек;
род уходит, и род приходит, а земля остается навек.
Солнце всходит, и солнце заходит,
и опять на востоке встает,
ветер мчится на юг и на север, чтобы снова уйти в полет,
чтоб, восток облетев и запад, возвратиться на круги свои;
и все реки стекают в море - но все так же плывут корабли;
не наполнится море сверх меры и за край не выплеснет кладь,
и куда бежали реки, туда продолжают бежать.
Все заботы трудны, но тщетны - ни одна не оставит след:
не пресытятся уши звуком и глаза не насытит свет.
Все, что будет, когда-то было, и не раз на стезе земной;
что творилось, то и творится, и нет нового под луной.
Кто-то скажет: - Смотри, вот новость! -
услыхав занятный рассказ,
а это уже случалось в те века, что прошли до нас.
И как мы не помним о прежнем, ушедшем в царство теней,
так не вспомнят о нашей жизни те, кто придет поздней.

Я, царивший в Иерусалиме, жизнью всей и мудростью всей
постичь задумал под небом ход событий и суть вещей.
Мне, царю из Давидова рода, дал тяжелую ношу Бог!
Видел я все дела под солнцем и в одном убедиться мог -
завершает любые деянья одинаково пустота:
все стремления - ловля ветра, и усилия все - тщета.
Все, что будет, когда-то было, но исчезло в пустынях лет;
распрямить кривизну невозможно и расчислить то, чего нет.
Суета сует все на свете! Сам себе я промолвил так:
вот я мудрость свою умножил, как зерно умножает злак;
стало сердце мое для знания, словно улей для роя пчел,-
всех, кто был до меня над Израилем,
я премудростью превзошел.
Но сравнив безумье и мудрость, понял я на все времена,
что и это - пустое томленье, ибо участь у них одна:
рок и мудрому, и безумцу прерывает с насущным связь,
только мудрый уходит в печали, а глупец уходит, смеясь.
В многой мудрости много скорби:
больше знаю - сильней скорблю;
человек, умножающий знанье, умножает печаль свою.

2.

Взору сладостны и сердцу лепестки в садах весенних,
виноградных гроздей тяжесть, юных женщин красота.
Я сказал себе: попробуй, испытай себя весельем,
познакомься с благом жизни! Оказалось - все тщета.

Равно мудрость и безумье я впускал в свои чертоги,
говорил заботе: властвуй! говорил вину: пьяни! -
чтобы честно разобраться - по какой идти дороге,
как нам лучше жить на свете в наши считаные дни?

Я дома себе построил, цветники разбил у входа,
насадил дерев плодовых, виноградники взрастил.
Мне дары свои дарила изобильная природа,
ибо ей я отдал много и забот своих, и сил.

Я купил рабов могучих, нанял слуг нетерпеливых,
проложил я сеть каналов, чтоб всегда была вода,
и по праву необъятен урожай на тучных нивах,
и бесчисленны отары, и ухожены стада.

Но, богаче всех богатых, не копил сокровищ втуне:
дорогих наложниц ласки, пышный двор, обильный стол,
голоса певцов прекрасных, танцы дивные плясуний, -
всех, кто раньше был на троне, я и в этом превзошел!

Не отказывал я сердцу всякой радостью упиться,
все, чего глаза просили, тут же дать им был готов,
ибо знал, что в том даянье воздавалось мне сторицей
и за мудрое начало, и за праведность трудов.

Но хотя мой ум и руки потрудились беззаветно,
оглянулся я однажды на чреду достойных дел -
и увидел, что и это - все тщета и ловля ветра,
ибо глупость пред рассудком я унизить не сумел.

Что с того, что ум возводит все надежно и красиво,
мудрый видит все на свете, а глупец бредет во мгле?
Свет, конечно, лучше мрака и пустыни лучше - нива,
но исход один и тот же ждет любого на земле.

Снова род пройдет за родом, и придут иные люди,
но и этих, вновь живущих, та же участь ждет в конце,
и о мудром, жившем раньше, так же памяти не будет,
как не будет о безумце, как не будет о глупце.

Так зачем я был под солнцем
столь прилежным и премудрым?
Утруждал я ум и сердце, собирал добро, и вот -
то, чем нас заботил вечер, все равно забудут утром
те, которым наша доля по наследству перейдет.

И тогда возненавидел я судьбу и труд поденный,
ибо это - ловля ветра, это - суета сует:
как узнать, каким он будет, мой наследник отдаленный, -
столь же мудрым и прилежным? - а скорей всего, что нет.

Я ему дома оставлю, и в плодах тяжелых ветви,
и прозрачные каналы к тучным нивам и садам,
но увижу, оглянувшись: все тщета и ловля ветра,-
и в прощальный вечер сердце я отчаянью предам.

Был мой труд под солнцем мудрым, и умелым, и успешным,
а плоды получит кто-то, не поднявший и перста,
или тот, кто в безрассудстве
бродит, как во тьме кромешной, -
и сказал тогда себе я: все на свете суета!

Все тщета, томленье сердца, умножение печали,
возведение строений на колеблемом песке.
Наши дни полны заботы, и покоя нет ночами,
но глупец уйдет с весельем, а мудрец уйдет в тоске.

Даже есть и пить под солнцем после праведной работы,
чтобы плоть была во благе, чтоб душа была пьяна, -
даже это, я увидел, на земле дано от Бога,
ибо только Бог дарует сладость хлеба и вина.

Но о том в короткой жизни невозможно знать заране,
и награда человеку неизвестна никогда;
лишь тому, кто благ для Бога, Он дает не только знанье,
а вина и хлеба сладость после долгого труда.

А тому, кто согрешает, Он внушает незаметно
собирать, копить и множить, проливая тяжкий пот,
и понять в свой час последний: все тщета и ловля ветра, -
и отдать в чужие руки плод бессонниц и забот!..

3.

Свой час под небом для множества дел,
и всякому делу свой предел:
время родиться и время умирать,
время насаждать и время вырубать,
время убивать и время воскрешать,
время возводить и время разрушать,
время плакать и время смеяться,
время избегать и время сливаться,
время пляске и время рыданью,
время камни швырять
и время складывать камни,
время терять и время искать,
время рвать и время сшивать,
время тратить и время копить,
время ненавидеть и время любить,
время разговору и время тишине,
время миру и время войне.
Тем самым сказал человеку Бог:
все прекрасно, когда оно в срок,-
прекрасно,
но благом ли будет оно -
этого знать никому не дано:
узнал я, что осиянная мгла
от нас укрывает Божьи дела.
Только и благ на свете есть,
что работать на совесть, пить и есть,
но без Божьей воли ни труд, ни еда
тебя не обрадуют никогда.
Что Бог творит - пребудет вовек:
ни отнять, ни прибавить тебе, человек.
Что есть, то было и будет опять,
а небывшее может лишь Бог создать.
Случалось мне видеть нечестный суд
и слуг закона, которые лгут,
но для каждого дела назначен срок:

грешного с праведным рассудит Бог.
И я подумал: Бог сделал так,
всюду Свой оставляя знак,
чтоб человек знал наперед,
что без Божьего духа - он просто скот:
без Него одинаково невмоготу
и человеку жить, и скоту;
одна и та же их участь ждет -
ведь умирают и люди, и скот;
и для человека, и для скота
без Божьего духа - все тщета.
Никто не скажет, солгать не боясь,
что душа скотины уходит в грязь,
а душа человека - в небесных мирах:
что вышло из праха - вернется в прах.
Я увидел - нет большего блага нам,
чем вовремя радоваться своим делам,
потому что вся наша доля в том:
никто не знает, что будет потом.

4.

И еще я увидел: творится под солнцем гоненье,
угнетенные плачут, но им утешителя нет.
Беспощаден тиран, а у подданых - только терпенье, -
и восславил я тех, кто покинул мучительный свет!

Благо мертвым, ушедшим, оставшимся в памяти тенью;
еще большее благо тому, кто не жил никогда,
кто не ведал ярма, на себе не познал угнетенья
и пустую тщету не увидел в итоге труда.

И еще я узнал, что плодами не вызреет завязь,
если чьим-то успехом завистливо мучишься ты:
все старанья твои пожирает недобрая зависть,
оставляя тебе только полные горсти тщеты.

И еще я узнал, что из сердца уходит отрада,
если ты одинокий, и рядом с тобой - никого.
Вот живет человек, не имея ни сына, ни брата,
и бывает, что спросит: „Зачем я тружусь, для кого?“

Худо быть одному - одинокие блага не имут;
быть хотя бы вдвоем - и уже не напрасны труды:
если двое в пути упадут, то друг друга подымут,
если двое возжаждут - друг другу достанут воды;

двум лежащим тепло, одному же никак не согреться,
и с двумя совладать никому не удастся спроста,
и не сыты добром одинокие очи и сердце,
ибо время приходит узнать, что и это тщета!

Это может случиться в богатом и бедном жилище,
и правитель иной, угнетающий тьму бедолаг,
даже в царственном сане последним окажется нищим,
разгадать не умея беды упреждающий знак.

Ловлей ветра окажется власть и тщетою - наследство,
и для пользы людей, проживающих в этом краю,
мальчик бедный, но умный займет одряхлевшего место,
чтобы выказать волю и раннюю мудрость свою.

Время властвовать будет и время, судьбу подытожа,
в свой черед уступить и подумать о прошлом в тиши...
Но забудут того, как забудут и этого тоже -
все на свете тщета и пустое томленье души!

5.

Следи, как ступаешь, в дом Божий идя:
чем с глупцами молиться, отдайся думам;
слова их шумны, как струи дождя,
и зло умножается этим шумом.

Не торопись, если разум впотьмах,
слово вымолвить, предстоя перед Богом:
ибо ты на земле, а Он в небесах;
потому, молясь, говори немного.

Непомерна словами речь глупца,
но дальше идет он, их не помня.
Ты же, дав обет, иди до конца,
и что обещал, непременно исполни.

Не давай устам ввести тебя в грех,
пусть звучат слова уместно и строго:
дело сам превратишь в пустой орех,
если речью пустой прогневишь ты Бога.

Много тщетных слов рождают мечты,
если мечтать о манне небесной;
лишь Бога должен бояться ты,
а судьба пусть останется неизвестной.

Еле дышит под гнетом иная страна,
деспот царь, и судьи несправедливы.
Но слабей поборы - скудней казна,
и, значит, царь в рабстве у нивы.

Но не знает блага любитель копить:
чем больше добра - тем охотней гости
приходят, чтоб даром есть и пить,
а владельцу - тщеты полные горсти.

Сладок сон работящего, поел или нет, -
богачу и в сон от забот не деться;
злейший недуг знает белый свет:
богатство, хранимое во зло владельцу!

А пропадет оно, как видения в снах,
хоть будут полны закрома и посуда:
как он вышел из чрева матери наг -
так нагим уйдет и отсюда.

Ни денег из подвала, ни меду из сот,
ни вина из кувшинов чеканной меди,
уходя, он с собою не унесет,
и что пользы ему, что трудился на ветер?

И все-то дни он скорбью ведом,
и жадность из глаз выжимает влагу...
Есть и пить, и вдохновляться трудом -
вот единственное в жизни благо.

И если это дал тебе Бог,
а не только одно людское имя,
Он сделает так, чтобы ты смог
воспользоваться трудами своими

и взять свою долю богатств и добра, -
а если Бог не пошлет привета,
то, что радовало тебя вчера,
окажется завтра ловлей ветра...

6.

Я вновь повторю про великое зло,
которое видел на свете:
копил человек, человеку везло,
но нет ему власти над этим.

Пусть множество лет проживет он, спеша,
пусть будет семья многодетна,
но коль не насытилась благом душа,
пуста его участь и тщетна.

Скажу я, что выкидыш даже - и тот
счастливей уж тем, что он не был:
из тьмы он пришел - безымянным уйдет
в полночное черное небо.

А этот над жизнью, как ворон, кружил,
не ведая блага от Бога,
и если б две тысячи лет он прожил,
и это бы было немного.

Трудился весь век, но трудился для рта,
для хлева, мошны и подвала,
и разве все это - не та же тщета,
как в жизни бесплодной и малой?

И чем же мудрец превосходит глупца,
а честный трудяга - злодея?
Вся жизнь, если блага не алчут сердца, -
тщета и пустая затея.

Живи и работай, а плох ли, хорош, -
зависит от Божьего взгляда.
Есть множество слов, умножающих ложь,
но в них ли людская отрада?

Простые вопросы приходят в наш дом,
но как же непросто с ответом:
что будет на свете, когда мы уйдем,
и кто нам расскажет об этом?!

7.

Лучше доброе имя, чем добрый елей;
в доме пиршества лучше стоять у дверей,
в доме плача - молиться со всеми:
там ушел человек, там рыдают, скорбя;
и такой же удел ожидает тебя,
потому что отмерено время.

Лучше горькая скорбь, чем бессмысленный смех;
сердце мудрого - в доме, где горе у всех,
а глупца - в обиталище смеха.

Лучше мудрый укор, чем глупца похвала:
как от веток в костре поутру лишь зола,
так от глупых речей - только эхо.

Не от мудрости эти вопросы твои,
если спросишь: как вышло, что в прежние дни
было лучше под солнцем, чем ныне? -
ибо ты о прошедшем не знал ничего;
лучше дела конец, чем начало его,
и терпение лучше гордыни.

Мудрость - благо, конечно, сама по себе:
у кого для нее было место в судьбе,
тот прожил под серебряной сенью.
Нет, никто не расправит, что Бог искривил,
но иное зависит от собственных сил:
часто в знании - жизни спасенье.

Сердцем радуйся дню, если выпал благой,
но не сетуй на день, если выпал плохой, -
оба дня равно посланы Богом,
чтоб создать равновесье скорбей и утех,
чтобы ты, человек, после этих и тех
ничего не нашел за порогом.

Я узнал равновесия облик иной:
гибнет праведник, мало прожив под луной,
нечестивцу же срока не видно.
Будь же праведным, будь, но не всею душой:
для греха в ней оставь уголок небольшой, -
и любая судьба не обидна.

Сколько б ни было жить нам отсчитано лет,
а такого среди самых праведных нет,
чтобы не согрешил хоть немного.
Но и грешный, и праведный, - этот и тот, -
жизнь проводит в чреде бесконечных забот,
а блажен лишь боящийся Бога.

Слух к молве обращая, будь сердцем не слаб:
проклинает тебя твой же собственный раб -
но и ты проклинал властелина!
Ты хотел, чтобы чтили в тебе мудреца,
а придется узнать на пороге конца:
мудрецу и глупцу все едино.

То, что в этих словах заповедал тебе,
я постиг по своей многотрудной судьбе, -
далеко, глубоко все, что было.
Был я глуп и безумен и в жизнь не вникал;
был я жаден до знанья и смыслы искал;
стал я мудрым, но сердце остыло.

Но пока не забылось кипенье страстей,
избегай, говорю тебе, женских сетей,
ибо женщина - горше кончины:
руки женщины - узы, ловушка она,
с ней об истинном благе на все времена
забываешь, не помня причины.

Я благого искал; труд велик и тяжел;
одного лишь из тысячи мужа нашел,
а из жен - ни одной: это омут.
Божье благо вовеки неведомо им,
ибо Бог сотворил человека прямым,
а они в ухищрениях тонут.

8.

Есть ли кто на свете, столь рассудком велик,
чтоб ему в сих словах не случилась закавыка:
„Мудрость человека озарит его лик,
и переменится дерзость его лика“?

Приказ царя выполняя, помни про высь,
откуда Божьи приказы к тебе летели.

Не скажешь царю: „Что делаешь? Остановись!“ -
но можно не участвовать в неправом деле.
Соблюдающего заповедь минует позор,
даже если на него неправый укажет,
ибо всякой вещи свой срок и приговор,
ибо зло на злодея, умножившись, ляжет.

Никто не знает, что будет потом,
и нет никого, кто расскажет об этом;
в руках человека - поле и дом,
но нет человека - владыки над ветром,
и над смертным часом власти нет,
нет лишнего мига - успеть проститься, -
и оружие не спасет на войне,
и злодеяние не выручит нечестивца.

Бывает, властвует над людьми человек,
к нечестивости их понуждая силой.
Он думает, владычество это - навек,
оно же кончается просто могилой:
в святое место его несут
им притесненные, роптать не вправе;
но время свершит беспристрастный суд -
он будет забыт в стране, где правил.

Люди осмеливаются делать зло
оттого, что за зло воздается неспешно;
каждый раз ликуя: опять повезло! -
сотню зол совершить успевает грешник.
Но у нечестивца не жизнь, а тень,
потому что он не боялся Бога,
а тому, кто боялся, каждый день
дарована будет к благу дорога.

Да, знаю, есть люди праведных дел,
что живут, как должны нечестивцы: мучась,
а кому за грехи полагается горький удел,

тем достается праведных участь.
Но и это тщета, суета сует,
и не нужно сетовать, хмуря лица:
под солнцем иного блага нет
кроме как есть, пить и веселиться.

А смысл бытия в череде ежедневных забот
на дорогах прямых и на извивающихся, как змеи,
сколько б ни трудился искать человек -
не найдет,
и мудрец не найдет,
даже возомнивший, что сумеет.

9.

Это все я запомнил в сердце, дабы это все объяснить, -
что у Бога в руке от праведных
и от грешных деяний нить:
вот человек созерцает, трудится, спит в дому,
но никогда не знает, что предстоит ему -
ждет любовь его или ненависть, ждет мир его или война.
Все, как всем; и праведному, и грешному участь одна;
чистому - и осквернённому, презревшему участь благих;
тому, кто приносит жертвы - и кто не приносит их;
тому, кто клянется всуе легко всегда и везде -
и кто боится клятвы даже в крайней нужде.
Во всем, что было под солнцем, и во все времена
есть печаль из печалей - что участь у всех одна.
На свершение зла потому-то осмеливается злодей,
и покуда живы под солнцем, безумье в сердцах людей.
Ибо всегда есть надежда у того, кто ликует: „Живу!“,
ибо живой собаке лучше, чем мертвому льву,
ибо живые знают, что все умрут все равно,
но мертвым даже и этого знать уже не дано,
и нет им более платы, ибо память о них ушла,
а любовь их, ненависть, зависть - сгинувшие дела,
и не найдется для мертвых обычной доли земной

во всем, что в мире делается под солнцем и под луной.
Так ешь же в радости хлеб свой и в радости пей вино,
ибо твои деянья Бог предрешил давно.
Пусть будут во всякую пору одежды твои белы,
и пусть не оскудевают нивы твои и столы,
и если жену ты любишь, наслаждайся любовью с ней
отмеренные дни и ночи тщетной жизни твоей,
ибо тебе под солнцем дарованы Богом они -
достойные и недостойные, все твои тщетные дни.
Заполни трудом и радостью каждый миг бытия:
она такова от Бога, доля в жизни твоя.
Я всякий раз бы ответил, если бы ты спросил:
что хочется делать - делай в меру отпущенных сил,
ибо там, в грядущей могиле,
даже слабый не брезжит свет,
и там ни дел, ни расчетов,
ни знаний, ни мудрости нет.
И еще довелось мне увидеть - я повторю для всех, -
что не быстрым удача в беге,
и не храбрым в битве успех,
и не мудрым хлеб, и богатство - не запасающим впрок,
но каждому срок и случай, только случай и срок.
А знать не дано человеку, когда поглотится мглой,
как не знает этого рыба, влекомая сетью злой,
как не знает этого птица, влетевшая в злой силок,
но каждому срок и случай, только случай и срок!

Видел я мудрость под солнцем,
большой показалась она:
вот городок неприметный, вокруг городка стена,
и в стене непрочные камни, и в городе мало сил,
а его с превеликим войском напавший царь осадил;
в городе смерть и голод, в городе плач и стон;
нашелся бедный, но мудрый, и город избавил он,
мудрых советов слово вовремя говоря;
но его потом и не помнили, а помнили все царя,
хотя того достояньем был только глупый крик, -

но тихому мудрому слову народ внимать не привык.
И видя это под солнцем, тогда я подумал так:
мудрость лучше, чем храбрость,
но если мудрый - бедняк,
если он тих и скромен и не владыка ничей,
то мудрость его презирают и не слышат его речей.
В мудрости больше блага, чем в орудьях войны,-
мудрость больше, чем доблесть, мы почитать должны.

10.

Бродя в жару от дохлых мух, смердит елей нательный,
и капля дури тяжелей, чем множество ума.
О деле думы мудреца, у глупого - бездельны,
дорога каждая ему крута и непряма.

Ищи прямой и ясный путь и затверди отныне,
что если в гневе властелин и жизнь твоя лиха,
ты не перечь ему,
его не разжигай гордыни,
и будет благо для тебя: подальше от греха.

Под солнцем зло встречалось мне - оно, как наважденье
(уверен я, довольно раз его видал и ты), -
что от имеющего власть исходит заблужденье,
когда дарованы глупцам высокие посты,

когда рабы сидят в седле, в параде выступая,
и, как рабы, идут пешком достойные князья...
Но знаю: в яму упадет тот, кто ее копает,
и на того, кто сносит дом, набросится змея,

и пострадает от ствола неумный рубщик леса,
и будет тот, кто камни бьет, осколком уязвлен,-
не расколоть тугой чурбак, не заточив железа:
когда нет мудрости в труде, увы, без пользы он.

Когда ужалила змея, нет смысла в заклинаньях,
бездумные уста глупца его же уморят,
и бесконечные слова без мудрости и знанья
не воскресение несут, а прибавляют яд.

Не знает он, что ждет его, и кто ему расскажет? -
а труд, в котором пользы нет, лишь утомит глупца.
С утра до вечера глупец лишь слово к слову вяжет;
не вслушивайся - в тех речах ты не найдешь конца!

Еще под солнцем понял я: стране, где царь неволен
и где князья с утра в пиру, - ей горе, той стране;
и благо той стране, где царь - мыслитель или воин
и где князья едят и пьют в вечерней тишине.

В упадок от ленивых рук приходит остов дома,
и крыша у того течет, кто руки опустил;
когда ж уверенной рукой страна к добру ведома,
ей светят солнце и луна, и тысяча светил.

Там ставят хлебы на столы для доброго застолья,
чтоб хоть иные вечера казались нам легки.
Увеселяет жизнь вино - с него мечтаньям воля,
оно развязывает нам умы и языки.

Но не хули нигде царя и не хули богатых:
пусть даже люди промолчат, но птицы разнесут,
и будет поздно локти грызть и укорять пернатых,
когда над головой твоей мечом нависнет суд.

11.

Краюху свою преломи и пусти по воде
и, долю с голодным деля, в справедливость уверуй:
воздастся за благо твое семикратною мерой,
когда доведется тебе оказаться в беде.

Под солнцем любое событие - ждем ли, не ждем, -
имеет последствия, нашим желаньям не внемля:
сосна, захирев, упадет неизбежно на землю,
и туча, наполнившись влагой, прольется дождем.

И все-таки нужно решаться - и дело свершать,
и страх ошибиться уметь оставлять незаметным,
не то испугается сеять следящий за ветром,
а тот, кто на тучи глядит, испугается жать.

Неведомо как появляется мягкая плоть
и твердые кости младенца во мраке утробы;
и так же неведомо, царству добра или злобы
деяние служит, - а это решает Господь.

Так сей же зерно и руке не давай отдохнуть,
а будут ли всходы, не будут, - не думай об этом,
и радуйся каждому мигу под солнечным светом,
стараясь пройти до конца предназначенный путь.

И помни о том, что за гранью пути - темнота,
и помни о днях темноты, ибо их будет больше,
и радуйся свету, в котором явление Божье,
и радуйся дню, ибо все, что наступит, - тщета.

Возрадуйся, юноша, зримым влеченьям своим,
под солнцем за ними иди с упоеньем по свету,
но помни, что Бог призовет непременно к ответу:
тщета твоя молодость, все это - ветер и дым...

12.

Помни Создателя своего
на протяженье всех дней земных,
ибо дни наступят хуже всего,
о которых ты скажешь: „Не нужно их!“
Солнце сквозь тучи пробьется с трудом,

и после дождя вновь тучи пойдут,
и будут дрожать обходящие дом,
и стражи, согнувшись, к мечам припадут,
и остановятся все жернова,
и запрутся двери в твоем дому,
и глядящие в окна проглотят слова
и разойдутся по одному,
и в небе умолкнет пение птиц,
и девушки повторять перестанут его...
Пока ты на землю не рухнешь ниц,
помни Создателя своего.
Небольшого холма убоишься ты -
он станет горой на тропе твоей,
и с миндаля опадут цветы,
и саранча наестся с полей,
и влеченье твое не воспрянет вовек,
и небо тебе заслонит стена, -
ибо в вечный свой дом идет человек,
и наемные плакальщицы вышли стенать.
Пока не порвался серебряный шнур,
и золотая чаша еще цела,
и ворот в колодце не утонул,
и кувшин с водой стоит у стола,
и прах не ушел в землю, которой он был,
а дыхание - к Богу, Кто дал его, -
пока ты все навек не забыл,
помни Создателя своего.

1987-1998 гг.

Давид Авидан

ЮНЫЙ ЭККЛЕЗИАСТ

Я Когэлэт царем не бывал
ни в Тель-Авиве ни в Иерушалаиме
да и не буду
Я не вкусил вкуса власти я не извлекал сока
сверхрадужных возможностей
сокрытых в опекунстве над массами.
Но вот, сказал Когэлэт молодой, но вот
мне ведомо заранее но не заведомо
что я не потерял на этом ничего.

Но, навалом навалом но, сказал Когэлэт,
навалом навалов но, все – повальное но.

Я родился с глазами слишком большими
когда мир был слишком мал. Но вот
на протяжении годов он стал вырастать,
и стой поры я вижу все неправильно.

Но навалом навалов но, сказал Когэлэт,
навалом навалов но, все – повальное но.

Сердце страшилось и расширялось. Сначало боялось,
а потом расширялось. Когда сердце боялось,
оно также и расширялось, и тогда оно уж не было
узким чтобы вместить страх. Но

когда оно перестало быть узким чтобы вместить страх,
снова не было в нем
ни широты ни страха.

Но навалом навалов но, сказал Когэлэт,
навалом навалов но, все – повальное но.

Бывает человек – живущий и существующий, тот что
существует но также и живет, но бывает
существующий и живущий, который
живет но также существует, но
есть живущий и существующий, тот что
живет но не существует, и есть
существующий и живущий, тот что
существует но не живет.

Но навалом навалов но, сказал Когэлэт,
навалом навалов но, все – повальное но.

Гнев гнездится за пазухой глупых, сказал
предшествующий,
сказал и знал что сказал.
Всякая ссора
выглядит на расстоянии времени нелепосмешной,
и это, по существу, испытание, определяющее
ее ненужность.
Всякая ссора выглядит, на расстоянии времени,
нелепой, но
также и некоторые из любовей.

Но навалом навалов но, сказал Когэлэт,
навалом навалов но, все – повальное но.

И Шеломо-царь был самым мудровидным из всех
людей, но
Шеломо-царь был самым либидовидным из всех людей, но
Шеломо-царь был самым мудролибидообильным
из всех людей.

Но навалом навалов но, сказал Когэлэт,
навалом навалов но, все – повальное но.

Быть заинтересованным женщиной значит –
быть заинтересованным самим собой, но впрочем,
хорошая женщина способна
возвратить мне способность, временами исчезающую,
быть заинтересованным самим собой
в такой степени, что ни одна женщина
не сможет соперничать с этой способностью.

Но навалом навалов но, сказал Когэлэт,
навалом навалов но, все – повальное но.

Подход большинства женщин к сексу способен
отрезвить любого мужчину, но
обновленная трезвость мужчины способна
посеять грезы во много раз острейшие
для некоторых женщин.

Но навалом навалов но, сказал Когэлэт,
навалом навалов но, все – повальное но.

Когда женщина приходит в мир, тело ее закрыто
а все остальное раскрыто-распахнуто. Но вот
когда мир опускает в нее якорь, тело ее раскрывается
а все остальное закрывается герметически
вплоть до ее обветшания.

Но навалом навалов но, сказал Когэлэт,
навалом навалов но, все – повальное но.

„Останься у меня“ предложила муха пауку, „Ведь это
для тебя одно-и-то-же, господин мой“. Но паук
был на пути к выходу: „Я занят“
прошептал он „есть еще несколько мостов и рельсовых
дорог –

мне надо их соорудить еще в эту ночь. Может быть
в другой раз, но
не у тебя“.

Но навалом навалов но, сказал Когэлэт,
навалом навалов но, все – повальное но.

Праведник – за него работают другие;
к счастью праведника
всегда есть другие, не-праведники.
Но если б
были бы только праведники, тогда не было б тех
других, чтобы выполнить работу
праведников.

Но навалом навалов но, сказал Когэлэт,
навалом навалов но, все – повальное но.

Я не ношу часов из-за того,
что суставы моей левой руки, обраслетенной
часами, напоминают мне
собаку в ошейнике. Гораздо проще
спросить который час, и это
достаточно хороший повод для определенных
межчеловеческих контактов в этом мире
чужом и угрожающем.
Но всякий раз, когда я спрашиваю, который час, – я чую
что моя левая рука сетует на свой горький жребий
в этом мире чужом и угрожающем.

Но навалом навалов но, сказал Когэлэт,
навалом навалов но, все – повальное но.

Бывает человек крепнущий и подвигающийся в этом
крепчании,
тот что движется и крепнет, но бывает
идущий и крепнущий, который

крепнет но также и продвигается, но есть
крепнущий и продвигающийся,
который крепнет, не продвигаясь, и есть
идущий и крепнущий, который,
продвигаясь, не крепнет.

Но навалом навалов но, сказал Когэлэт,
навалом навалов но, все – повальное но.

По существу мне нужно
совершенно иное тело, более стойкое
перед лицом меняющихся возможностей,
обладающее механизмом обеззараживания
большей эффективности. Но впрочем,
чтобы добыть заранее тело
поистине необходимое мне, – мне необходимо
тело иное поистине.

Но навалом навалов но, сказал Когэлэт,
навалом навалов но, все – повальное но.

Стабильное-и-постоянное это сочетание
вполне предохраняющее в этом зыбком мире. Но
стабильное само по себе никогда не стабильно
и постоянное само по себе
никогда не постоянно, точнотакжекак
стабильное само по себе никогда не постоянно
и постоянное само по себе
никогда не стабильно.

Но навалом навалов но, сказал Когэлэт,
навалом навалов но, все – повальное но.

Сочинительство само по себе в своей общепризнанной
форме
не что иное
как вышиванье-сложно-кружевное. Но я

в один прекрасный день всей тяжестью своей весомой
возьмусь и навалюсь
для-ради всей весомости своей.

Но навалом навалов но, сказал Когэлэт,
навалом навалов но, все – повальное но.

Искусство, как известно, это не что иное,
как воздвижение крепостей пред ликом жизни, да и,
пожалуй,
пред ликом смерти.
Но не твоей смерти, нет,
нет. Только грядущие поколения
быть может будут удостоены укрытия в тени
этих крепостей, если только вообще эти крепости
будут удостоены того что кто-нибудь
найдет укрытие в их тени.

Но навалом навалов но, сказал Когэлэт,
навалом навалов но, все – повальное но.

Желательно, конечно, чтобы надежда
сопровождала жизнь,
а не жизнь надежду, но бывает
положенье при котором жизнь
препровождает надежду
в другую местность.

Но навалом навалов но, сказал Когэлэт,
навалом навалов но, все – повальное но.

И еще есть вид упования, представляющий
способ оправдания существования,
и хотя я страшусь подобных надежд и упований, но еще
более
страшусь смерти.

Но навалом навалов но, сказал Когэлэт,
навалом навалов но, все – повальное но.

Никогда еще я не был более склонен
к совершению ошибок,
чем в этот суровый час. Но
никогда я не ощущал в лучшей степени
сладкого вкуса ошибки.

Но навалом навалов но, сказал Когэлэт,
но – вал навалов, повальное но.
Но жаль, – жалость
жалостей, сказал Когэлэт,
жалость жалостыней, сплошное
жаль, Печаль
печалей, сказал Когэлэт,
печаль печалей, всеоплакивающая печаль
печаль. Развал
развалов, сказал Когэлэт,
суеразвал суеразвалов, все
суетноповальное но.

И кроме того что Когэлэт молодой был скептик
он еще отвращал верованье от народа
и испытывал и взвешивал множество притчей.
Завершенье речей: береги для себя учение свое
и смерти своей бойся, ибо и в этом весь человек.

Авторизованный перевод
с иврита Савелия Гринберга

Ал. Мышиц

ДОВЛЕЕТ ВРЕМЕНИ ЗЛОБА ЕГО

(о книге Евгения Сельца „Среди земли", стихотворения, предисловие Дины Рубиной, 1997 г., изд-во „Беседер". Иерусалим, 128 стр.)

Писать предисловия – скользкое дело. Пишущий их с одной стороны стремится автору угодить – как же, доверил написать предисловие к своей книге. С другой стороны - перд читателем неловко. Книги-то еще нет, есть только рукопись - ведь предисловие, если оно отпечатано не на вкладном листе, появляется на книжных страницах одновременно с текстом. По рукописи представить себе книгу не все писатели умеют. Да еще автор предисловия зачем-то старается убедить читателя, что книга, которую он еще никогда не видел, самая лучшая - иначе чего ж он за предисловие взялся? И вот для того, чтобы книга понравилась читателю, автор предисловия пишет о смутном впечатлении, которое произвела на него самого рукопись. И цитирует кусочки текста из рукописи, которые могут не войти в будущую книгу при окончательной правке. И выбирает при этом не самые вкусные куски. И сопровождает их бледным комментарием. Выглядит это так же уместно, как обсуждение достоинств женщины в ее присутствии.

Предисловие, исполненное таким образом, еще как-ни-то может соответствовать текстам умершего автора. К впечатлениям тогда прилагается его биография, обстоятельства жизни, место в общем контексте литературы и условия исторического времени. У живого автора все перечисленные обстоятельства не менее интересны, чем у покойного. Но при живом авторе

перед книгой, в которй поместилось как раз то, что он хотел сказать, предисловам в голову не приходит излагать подобное. Они поют впечатлизмы. При плохой книге - а предисловия полагают не только к хорошим - поучается приторная подлива к пресному блюду; при хорошей - церемонимейстер, портящий на балу воздух перед входом красавца.

Не первый раз в жизни я держу в руках книгу сильных стихотворений и сетую на советское предисловие к ней. Но в этот раз обиднее обидного, что автор предисловия, в иных трудах - писатель талантливый и плодовитый, наверняка не включит его ни в одну книгу своей избранной прозы. То, чего писатель не пожелает для себя, он легко сделал для другого писателя. Между тем стихи Евгения Сельца в состоянии сами по себе произвести на читателя впечатление, и это впечатление в посредниках не нуждается.

Израильскому читателю периодической печати творчество Евгения Сельца знакомо. Сельц работает ответственным секретарем еженедельной газеты „Русский израильтянин". Эта газета несет в себе множество рубрик развлекательных и нищета аналитических, крайняя скудность корреспондентской сети и старание заполнить максимальный объем минимальными силами. Конечно, в Израиле есть еще более „желтые" и поверхностные издания на русском языке, но это слабое утешение. В обязанности поэта Евгения Сельца входит, в частности, написание для каждого номера статьи размером в газетную полосу. Объем должен быть заполнен. Надо ли говорить, сколь мучительными и тягучими выходят строки на дежурную тему, до которой автору в действительности по гамбургскому счету нет никакого дела? Попытки изредка цитировать собственные стихи в этих статьях только усугубляют трагедию - возникает эффект мясорубки, играющей Моцарата.

Говорят, именно для таких случаев и существуют псевдонимы. Писатель, не пользующися ими для предохранения литературного имени, рискует не меньше человека, пренебрегающего в телесном контакте с незнакомками средствами защиты от СПИДа. Поэтому книгу стихотворений Сельца „Среди земли" внимательнее стоит читать тем, кто не знаком с израильской периодикой. Именно им откроются тогда два основных парадокса, две раны, разбереженые поэтом для себя „Среди земли" - время и тоска. Вот субъективный темпоритм поэта:

„Циркулем вечность водит..."
„Как долго весна копошится..."
„Сквозь сотни тысяч лет щелчком отправлю в путь
Последний уголек истлевшей сигареты..."
„И человек, желающий украсть
Хоть миг у веков..."
„И камень, заложенный первым в болота столицы,
Уже отдыхает от трехвекового прогресса..."
„Стотысячный раз весь альбом просмотрю..."
„Сто лет назад заученный этюд..."
„Христу исполнилось недавно
Две тыщи лет без десяти..."
„Ничего не поделаешь -Хронос мертв..."
„Ходит вечность, грубая, живая,
Рядом с мимолетностью живой..."
„...И время неслось ниагарою -
Вздымалось и падало ниц."
„...Распирают ненужные силы
Истощенную вечностью грудь."

Время „Среди земли" определенному измерение не поддается. Но от этого страсть к ощущению его не утихает:

„Шел високосный. Кажется, среда.
Октябрянвапрелюль. Не так уж важно..."

Правда: точно сконструированное слово прекрасно, совершенно не важен точный день, но вот эта самая неважность дня - она сама собою важна чрезвычайно. Мечется в тоске человек, одаренный великим мастерством составления слов, уязвленный полным отсутствием внутреннего словесного различия между мигом и веком.

„Никак не отпустит меня Зима.
Март на исходе, а тонус - минус.
Пытаю душу, бегу ума,
но вечный кукиш - куда ни кинусь.
И, следуя внутреннему тик-так,
на всякую утку ловлюсь, простак."

Скользкое дело - рецензии. Особенно в Израиле, где, как в солидном районном центре, все литераторы, по-русски работающие, знают друг друга лично и зачастую коротко. Бросая эпитеты, как льдистые снежки в лесу, - я прямо заимствовал этот образ из стихотворения Сельца „Игра в снежки" - можно ненароком угодить в открытое лицо, цепко укорененное среди земли. Единственное прямое, честное дело среди все этой зимней заинтересованной скользкости - слагать слова в строки и строки в стихотворения.

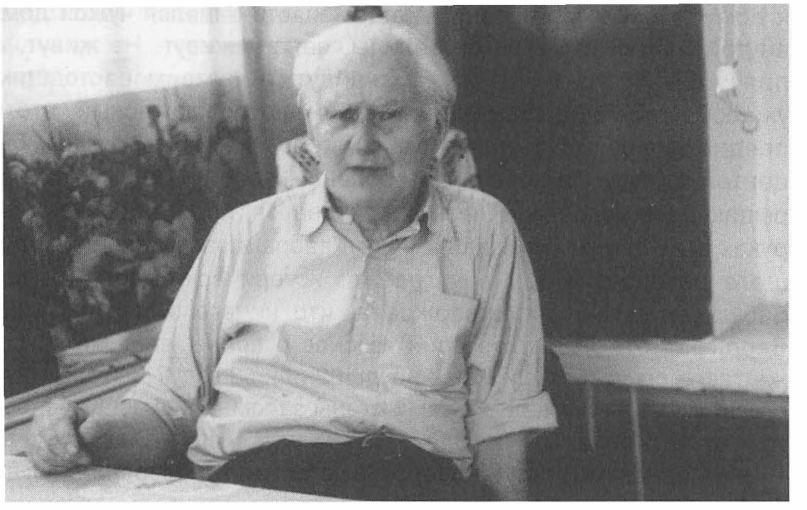
В бору нет острых углов.
Бор тяжек, как спящий вол.
Снежок летит меж стволов
и попадает в ствол.
И ствол, заболев умом,
воловьим глядит бельмом.

Следи за рукой, дружок
Описывая дугу
она отдает должок
Времени как врагу,
зачем-то сосновый бор
расстреливая в упор.

Этот процесс, пойми,
Процесс утраты ыуда-дщму
есть борьба за дверьми
жизни, где циник прав,
а поедаемый ты -
объект его правоты.

Что есть „поедаемый", взвесь!
Груда руин, руда,
россыпь, рыхлая смесь,
самомненье, тщета труда,
совместимость „могу" с „хочу",
вера Времени как врачу.

Незнакомые с современной израильской поэзией литературоведы вполне могут с удивлением принять это стихотворение за неизвестное им произведение очень раннего Бродского. Знакомые же с удовольствием принимают это произведение хорошо известного им Сельца. Враг столь же равнодушный, как врач - время измеряется чем автору угодно: мигами, деревьями, жизнями, снегом. Поэтическое время удобно измерять книгами. Ничего не случилось ни с временем, ни с тоской. Просто появилась первая в Израиле книга поэта Евгения Сельца „Среди земли".



Эмилия Обухова

КНИГИ ИМЕЮТ СВОЮ СУДЬБУ

Я родилась в Харькове. В 5 или 6 лет мне снилось то, чего я никогда не видела, но эти сны помню до сих пор. О том, что представлялось мне во сне, я вряд ли могла услышать в доме - ведь первые 8-10 лет после войны о происходившем в городе при немцах вообще не рассказывали. Тем более, при детях. Возможно, молчали оттого, что ужас этот был недавним - он как бы еще присутствовал. Зато я помню, как часто употреблялось слово „эвакуация": когда мы были в эвакуации в Тюмени, - говорила бабушка... А вот что было в это время в Харькове, не обсуждалось, не упоминалось и не описывалось. Так что сны мои были как бы из воздуха. Видно, город или, как сказали бы теперь, его эгрегор, был перенасыщен трагической информацией и заполнял ею по ночам головы новых горожан. Не знаю, есть ли такая память у других послевоенных детей. Тут важно было родиться близко во времени ко всему этому. Позднее ощущение недавно бывшей трагедии отдалилось, стало

слабеть. А те, приходившие в детстве сны, я и сейчас помню: незнакомые темные улицы и какие-то люди перебегают от дома к дому, а сами - как тени. И еще - часто виделся чужой дом, внутри нецелый, будто развалины, но там живут. Не живут, а прячутся. И страх, что их там найдут, был моим настоящим ужасом. Был еще совсем ясный сон, настолько ясный, что я предполагаю, это было на самом деле: в наш двор в самом центре города - в переулке Короленко, двое под руки привели рыдающего человека. Он низко склонялся, просто провисал на руках этих двоих. Они зашли в угол двора и застрелили рыдающего из пистолета. Меня громко, истерически звала домой бабушка. Потом она утверждала, что ничего этого не было. Вероятно, это был тоже один из снов о войне, ведь не могло же такое случиться в каком-нибудь 52 или 53 году? Выходит, что в нашем дворе чуть ли не сами стены запомнили бывшую здесь трагедию и показали ее мне. Похоже на видение.

Мне вспомнились те невероятные детские прозрения, когда полгода назад я получила из Харькова несколько пожелтевших машинописных листков, подписанных именем Юрий Петрович Полтавцев. До войны автор воспоминаний был известным юристом, возглавлял Харьковскую коллегию адвокатов. Он брался за защиту обвиняемых в громких расстрельных делах. Юрий Петрович многим успел помочь, но незадолго до войны сам был „осужден во внесудебном порядке, по „ОСО".

После лагерей адвокатом уже не работал. Я познакомилась с ним более 10 лет назад в доме у Зары Довжанской, режиссера уникального литературного театра. Она называла его Юрочка Петрович, а он был поклонником ее театра, ее таланта. Он любил тогда рассказывать о своих встречах то с Булгаковым, то с Любимовым, то еще с кем-то. Но никогда Полтавцев не рассказывал о себе: об аресте, лагерях до времени не знал никто, даже Зара. Сейчас, когда Юрию Петровичу 91 год, скоро выйдет его книга воспоминаний „Записки криминалиста". Те пожелтевшие страницы, которые попали ко мне, были наброском к одному из рассказов будущей книги.

Он начинает рассказывать свою историю будто из полумрака моих детских сновидений: „Вечером 14 или 15 января в квартиру моей мамы пришла пожилая женщина с совершенно седыми волосами. Она сказала: „Я знаю, вас зовут Любовь Ниловна. Я хорошо знаю вашего сына. У меня не осталось никого из близких.

Ваш сын знает, что я потеряла мужа, обоих сыновей и дочь. Осталась совершенно одна. Мне некуда идти, у меня нет дома. Бомба уничтожила все в нашей квартире. Я была в убежище. Это, - она показала на небольшую кожаную сумку, - все, что у меня есть. Я пришла к вам, прочитав немецкое объявление - они на всех стенах стенах и заборах: всем евреям – жителям Харькова, всех возрастов собраться 16 января к определенному часу, там-то. Неисполнение - расстрел, укрывательство - расстрел. Мне некуда идти. Вы можете меня не принять... Я пойму вас..."

Мама рассказывала потом, что у этой женщины было совершенно окаменевшее лицо и опустошенные глаза. Идемте, - сказала мама, - я провожу вас в вашу комнату. У нас одна комната свободна, в другой лежит моя дочь, она больна, она не будет вам мешать. Вы останетесь у нас."

Юрий Петрович не упоминает о себе, о том , где был он сам в это время. Почему его комната была свободна. Он мог бы воевать, но он был в лагере заключенным. Его сестра болела тяжелой формой энцефалита, к ним боялись входить, опасаясь инфекции, и это, возможно, спасло жизнь им всем.

Женщину, которую прятали у себя Полтавцевы, звали Мария Рафаиловна Лозинская. Ее муж, Михаил Лозинский был крупным ученым, профессором международного права. После революции он возглавлял украинскую эмиграцию во Львове. Его уговаривали вернуться. На протяжении нескольких лет с ним вели переговоры об этом Петровский и Мануильский. В 1925 году Лозинский принял решение о возвращении и переехал с семьей - женой, двумя взрослыми сыновьями и дочерью - на Украину. В Харькове, тогдашней столице, он получил большую квартиру и перевез из Львова громадную библиотеку. Он был избран в Академию Наук, несколько лет работал директором большого института. Потом был арестован. Вскоре арестовали обоих его сыновей - научных работников. Жена Лозинского обращалась во все инстанции, пытаясь узнать о судьбе трех мужчин из своей семьи. Формулировка всех ответов была одна: осужден без права переписки. Позже арестовали и дочь, кандидата наук, доцента бактериологического института. В своем рассказе о том, как была уничтожена эта еврейская семья, Полтавцев не говорит, как много он сам помогал Лозинской в поисках мужа и детей. Как адвокат он имел доступ к секретным

документам, но ему удалось узнать только о судьбе дочери: оказалось, что она была „осуждена заочно. Сослана в Караганду за контрреволюционную деятельность. Много лет спустя, когда она была реабилитирована и смогла прочитать свое дело, она узнала, что была осуждена Особым совещанием как жена ... расстрелянного своего родного брата! За это отбывала она наказание. Дочь Марии Рафаиловны осталась в пожизненной ссылке в Караганде, там она вышла замуж за в прошлом третьего секретаря ЦК Азербайджана, тоже отбывавшего там наказание. К слову, когда в Москве слушалось дело Берия, за ним приехали два полковника и увезли его в Москву как свидетеля. Вернувшись, он рассказал своей жене, что, сам немало переживший в тюрьмах и лагерях, самое страшное в жизни он узнал только на этом процессе. Вскоре он умер от инфаркта. Но все это случилось позднее. А тогда, в оккупированном Харькове Мария Лозинская скрывалась в доме Полтавцевых до освобождения Харькова. Как только немцы ушли, она стала собираться в Караганду, к дочери. Перед отъездом пришла к Любови Ниловне и ее больной дочери. На прощанье она вынула из сумки небольшую узкую книжку в старинном кожанном переплете. Пожалуйста, - попросила она, - сохраните эту книгу для вашего сына, он ведь любит старинные издания. Она одна уцелела из библиотеки мужа, и он ее очень ценил. Эту книгу - особенно. У нее есть история: книга из библиотеки Герцена, в ней лежит письмо Герцена.

Когда Юрий Полтавцев вернулся,он получил оставленный ему подарок. Это была книга Томаса Мора „Идеи и утопия“ со старинными гравюрами, изданная в Амстердаме в 1730 году. Реликвия эта и сегодня в уникальной библиотеке Полтавцева. Нелегко жить на Украине сейчас. Чтобы выжить, Юрий Петрович продает иногда свои книги. Но с этой книгой не расстанется: она единственный памятник большому ученому М.М. Лозинскому, оставшемуся то ли на Соловецкой земле, то ли в водах Белого моря, и двум его сыновьям, неизвестно где убитым. Эта книга - память о человеческой красоте матери Юрия Петровича, русской женщины, укрывшей в своем доме, посреди нацистского ужаса в Харькове 43-го еврейку Марию Лозинскую.

Мне давно уже не снится Харьков, даже тот, мой Харьков, где живут еще любимые мной люди. Я только думаю иногда, что страшно перемениться, очерстветь и забыть о том, как все-таки прекрасны бывают люди.

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ №№ 107-108

Яков Шехтер. *Писатель и публицист, см. №№ 82, 94, 98, 106. Живет в Реховоте.*

Владнир Донец. *Писатель-драматург, с 1997 г. живет в Кирьят-Арба.*

Элла Иоффе (Кампайнен). *Поэт и переводчик. Живет в Хельсинки.*

Рита Бальмина. *Поэт и дизайнер. См. «22» № 107. Живет в Тель-Авиве.*

Микки Вульф. *Литератор, живет в Бат-Яме.*

Давид Таксер. *Писатель и публицист, см. №№ 86, 87, 90, 96. Живет в Ришон ле-Ционе.*

Михаил Копелиович. *Литературный критик и журналист, см. «22» №№ 91-105, 107. Живет в Иерусалиме.*

Александр Воронель. *Гл. редактор «22», см. №№ 1-108.*

Александр Кустарев (Донде). *Писатель и публицист, см. №№ 52, 63, 67, 75, 76, 80, 82, 95, 96, 100, 101, 102, 104.*

Алек Эпштейн. *Студент-историк Еврейского Университета.*

Наум Басовский. *Поэт, см. №№ 85, 93, 97, 100, 105. Живет в Ришон ле-Ционе.*

Давид Авидан. *Израильский поэт-модернист. Умер в 1996 г.*

Э. Мышиц. *Псевдоним литератора, живущего в Тель-Авиве.*

Эмилия Обухова. *Филолог, см. №№ 101, 103, 106. Живет в Нетании.*

Главный редактор – Александр ВОРОНЕЛЬ

Редакционная коллегия:

Н. ВОРОНЕЛЬ, Н. ГУТИНА, А. ДОБРОВИЧ,
А. ДОНДЕ, Н. ДРАЧИНСКАЯ, Э. КУЗНЕЦОВ,
М. ХЕЙФЕЦ, Д. ЦИФРИНОВИЧ, И. ЧАПЛИНА,
Н. БАСОВСКИЙ, В. КРАСНОГОРОВ, Э. БОРМАШЕНКО

Заведующая редакцией – Мирьям БАР-ОР
Компьютерная обработка – Нина РАДАЙ
Печать – издательство «МЕРКУР»

Всю корреспонденцию направлять по адресу:
«22», P.O.B. 44050, Tel-Aviv 61440.
Телефон редакции – 03-7394525

Электронный адрес: http://folding.tierranet.com/22

Все права на материалы журнала (за исключением особо оговоренных случаев) принадлежат издательству «Москва – Иерусалим» и их использование без ведома и согласия издательства не разрешается.

Стоимость годовой подписки в Израиле – 120 шек., для организаций – 130 шек., за рубежом – 80 долларов (авиапочтой в Европу – 90, в США – 95 долларов), для организаций – 100 долларов (включая пересылку).

Стоимость подписки для новых репатриантов (до 1 года в стране – 90 шекелей (с рассрочкой в два платежа).

Отвергнутые рукописи не возвращаются
и в переписку по их поводу редакция не вступает.

ПОДПИСНОЙ ТАЛОН

Прошу подписать меня на журнал "22", начиная с № .....
Прилагаю чек (чеки) № .... на сумму .....
Журнал прошу выслать по адресу .....
.....
(пишите разборчиво, желательно указать № телефона)
Жертвую в фонд журнала .....
(фамилия)
Наш адрес: "22", Тель-Авив 61440, п/я 44050